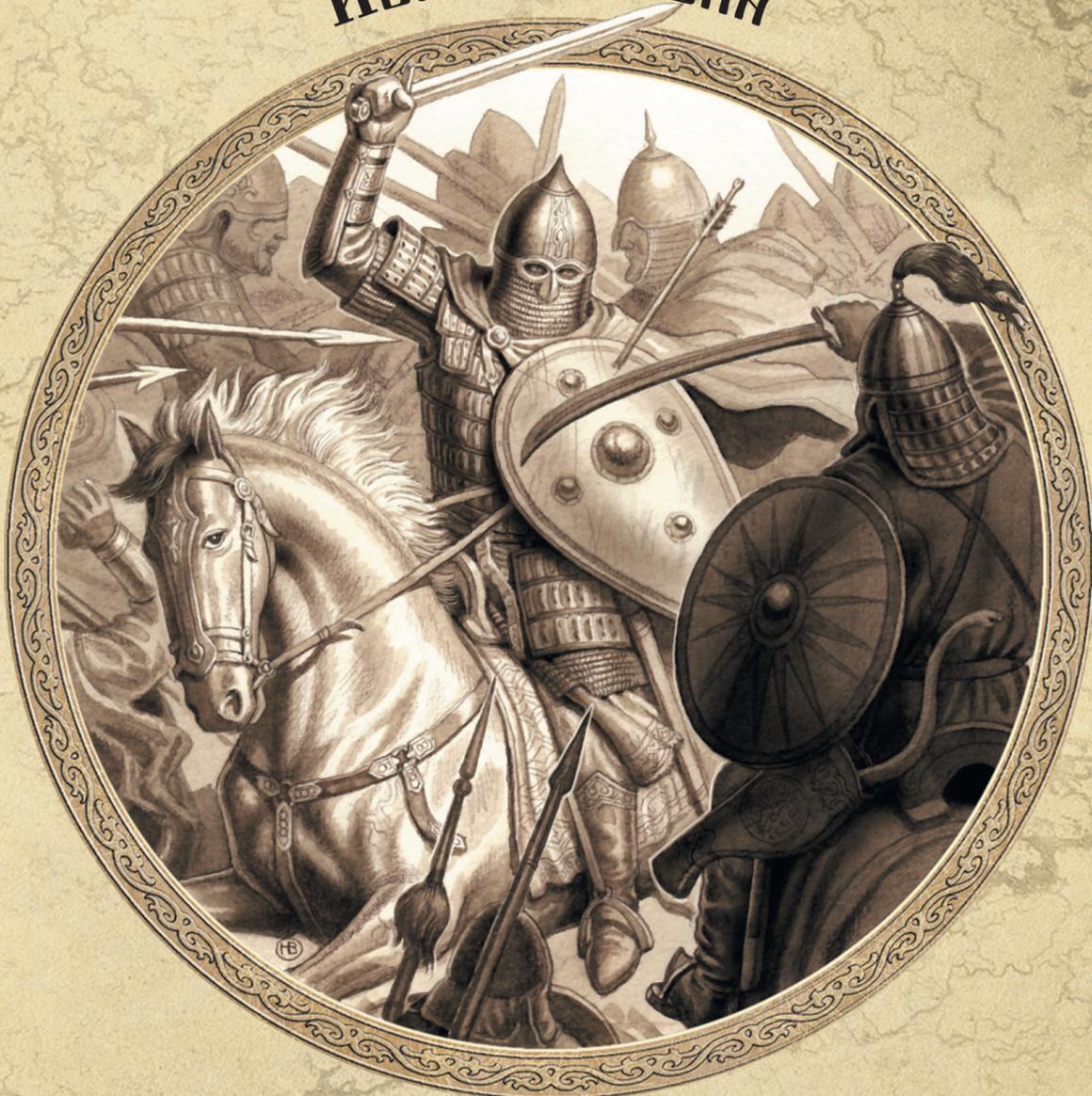


# Ү истоков Рҫси

Иван Наживин



Бес,  
ТВОРЯЩИЙ  
МЕЧТУ

У истоков Руси

Иван Наживин

**Бес, творящий мечту**

«ВЕЧЕ»

2019

**Наживин И. Ф.**

Бес, творящий мечту / И. Ф. Наживин — «ВЕЧЕ», 2019 — (У истоков Руси)

ISBN 978-5-4484-7790-4

Первая половина XIII века. На Русь, пока не ставшую единым государством, пришёл Батый, но даже перед лицом общего врага нет единства между русскими людьми. Одни, такие как боярин Коловрат и его сын, защищают Русскую землю, а другие, подобно броднику Плоськине, помогают неприятелю. Трудно защитникам выстоять! А между тем идёт на Руси и другая битва – противостояние христианства и языческих верований, которые как «бесовские наваждения». Христианство не объединяет людей так, как могло бы объединить. Потому и силен бес, который прячется в камне и навевает опасные, сладкие мечты. Последуй за такой мечтой — и можешь погибнуть. Незаслуженно забытая повесть «Бес, творящий мечту» публикуется вместе с другим, хорошо известным произведением классика русской исторической прозы Ивана Наживина – «Глаголют стяги».

ISBN 978-5-4484-7790-4

© Наживин И. Ф., 2019

© ВЕЧЕ, 2019

## Содержание

Бес, творящий мечту. (Повесть времен Батые)	5
На берегах Калки	5
Володимир Залесский	13
О бесе, творящем мечту	18
У владыки	23
Купальская ночь	29
Княжье	33
Баушка Марфа	38
Отрава любовная	42
Чудище степное	45
Поганьское насилие	48
Злоключения отца Упирия	53
Встреча	56
Лесная сказка	61
Потоп	65
Бродники	69
Конец ознакомительного фрагмента.	72

# Иван Федорович Наживин

## Бес, творящий мечту

### Бес, творящий мечту. (Повесть времен Батыя)

#### На берегах Калки

Был год 1223-й. В богатый и славный Галич, сосредоточие жизни всей Юго-Западной Руси, явился вдруг из кочевьев, из страшной, всегда гремевшей оружием степи половецкий хан Котян в сопровождении своих сподручников. Половцы были чрезвычайно перепуганы.

Княжил тогда в Галиче Мстислав Удалой, князь торопецкий. Он был «дебел телом, чермен лицом, – говорит летописец, – великом очима; храбр на рати, милостив; любяще дружину по велику, именья не щадяще, ни питья, ни еденья браняше». Котян был его тестем.

– Что такое? – спросил Мстислав половцев. – В чем дело?

И те поведали князю, что с востока, из-за Волги, появился в степях какой-то новый народ, татары, что шли они ратью несметной и все мели перед собой, как ураган.

– Какие татары? – с удивлением спрашивали перепуганных степных волков храбрый князь и его галичане. – Уж не путаете ли вы чего? Откуда бы они взялись так вдруг?.. Поезжайте назад, посмотрите внимательней, и, когда воротитесь, мы подумаем тогда, что делать.

– Нет-нет... – говорил испуганный Котян на своем смешном русском языке. – Некогда уже ворочаться. Надо строить скорее полки. Нам одним с ними не справиться никак. Идите скорее на помощь нам, а то они, разбив нас, обрушатся и на вас. Тогда и вам несдобровать. Их идет видимо-невидимо...

Бесстрашное сердце было у Мстислава, но и он смутился: он знал Котяна за доброго воина.

Стали держать совет, и вот, сдумавши, решили, чтобы князь Мстислав созвал скорее в Киеве, матери городов русских, съезд князей. И сейчас же – тревога половцев заражала – понеслись ко всем князьям гонцы...

Через немного времени в старый Киев, где княжил тогда Мстислав Романович, уже в годах, собрались со всех концов Руси князья. Туда же прибыли и ханы половецкие. Они униженно кланялись, молили забыть старое размирье, дарили князьям лихих скакунов степных, верблюдов, буйволов, девок красных. Один из них, Бастей, для большого умиловления князей русских даже крещение принял... Русские князья разделились: храбрые сердца звали на битву, а те, что поосторожнее, удерживали: дело половецкое – нам что? Но умудренный опытом всей своей жизни боевой Мстислав Удалой быстро помирил всех.

– Нам выгоднее помочь половцам, – сказал он, – потому что иначе они соединятся с татарами и вместе с ними обрушатся на Русь...

Князья задумались: положение было невеселое.

– Это он руку половцам тянет, – сказал кто-то тихонько. – Тестю своему, Котяну, помочь хочет.

Данила Романович Волынский, молодой, но доблестный витязь, сверкнул глазами.

– Препираться нет времени, – сказал он. – Надо поскорее исполчать Русь.

В те молодые времена молодежь рано начинала жить. Бывали случаи, что князья водили полки в двенадцать лет. Данила уже в шесть лет владел мечом. Когда крамольники-бояре хотели разлучить его с матерью, выпроваживая ее из Галича, он ехал за ней с громким плачем верхом, а когда один боярин схватил было его коня за повод, Данила ткнул его мечом. И только

одна мать могла отнять у него меч и умолить остаться в Галиче. И теперь, «младства и буести ради» – ему было едва двадцать лет, – Данила горячо стоял за рать.

Порешили: рать. И сейчас же князя разъехали по своим волостям строить воев<sup>1</sup>.

К великому князю суздальскому – на севере Руси он занимал первое место – был послан гонец, чтобы он шел скорее на помощь.

Всю долгую зиму Русь кипела приготовлениями, а по весне, как только дороги после распутицы провяли немного, Русь пришла в движение из конца в конец: к острову Варяжскому на Днепре, близ Заруба, потянулись полки на ладьях, на конях и пешие. Шли киевляне, черниговцы, волынцы, смолянне, переяславцы. Куряне, путивльцы и трубчане пришли коньми. Из залесской стороны, с севера, шел с дружинами ростовский и суздальский племянник великого князя Василько Константинович, князь ростовский. Галичане на тысяче ладей опустились Днестром к морю, поднялись взводу и стали станом у речки Хортицы, на Протолчьем броде. Из степи подходили и с востока, и с запада полки половецкие. На реке от ладей была такая теснота, что вои с берега на берег переходили по ладьям, как по мосту... Смушал только всех отказ рязанских князей выйти с ратью на общее дело да запоздание полков суздальских.

Жара и засуха стояли прямо нестерпимые. Раскаленный воздух был полон дыма от горевших где-то лесов и болот, и горький запах гари перехватывал дыхание. Глаза слезились от дыма. И вдруг в довершение всего на западе засияла блестящая комета – сперва хвостом на юг указуя, а потом на востоке перевернулась, в поле половецкое: оттуда-де беды ждите. И смутив души по всей Руси, – недоброе то знамение!.. – вдруг пропала...

Татары, прослышав о движении больших сил, прислали вдруг к князьям послов. Русская рать во все глаза дивилась на невиданных еще степняков. Они были невысокого роста, коренасты, широкоплечи, с плоскими скуластыми лицами и раскосыми глазами. На круглых головах их были войлочные шляпы с небольшими полями, которые спереди и с боков были загнуты, а сзади на шею опущены. Малорослые крепкие коньки их с буйной гривой и хвостом так и плясали под ними и сверкали налитыми яростью глазами, но они крепко, как пришитые, сидели в седлах с короткими стремянами. Вооружение степняков составляли длинные копьё с пучком конских волос, кривые сабли и луки с длинными стрелами...

В качестве переводчика татары привезли с собой одного русского, должно быть, полоняника, который держался, однако, очень независимо, а по отношению к русским князьям даже как будто и неприязненно. Это был старик высокого роста, стройный и крепкий. Лицо его было когда-то красиво, по-видимому, но теперь все изуродовано оспой, а выбитые передние зубы еще более безобразили его. Большие, дерзкие соколиные глаза не опускались ни перед кем...

– Мы не на вас пришли, – сказал военачальник-посол, жирный татарин с хитрыми, заплывшими глазками и длинными, висящими вниз усами. – Мы пришли на своих холопей и конюхов, половцев. Возьмите с нами мир. А прибегут они к вашим рубежам, бейте их, а имение их берите себе. Мы знаем, что и вам они причинили немало зла.

Князья незаметно переглянулись: верить, конечно, не приходилось ни татарам, ни половцам...

– Не слушайте их, князья... – проговорил Котян, старый степной волк. – Мы как-никак, а давно соседи: бывает, что и ссоримся, но бывает, что живем и по-хорошему... У нас степи, у вас своя земля. А эти лезут в чужое... Кто их звал? Не за добром покинули они свои земли и пришли в степь... Не слушайте их...

Беседа продолжалась недолго. Татары держались высокомерно. Мстислав Удалой – он по своему положению, а в особенности по славе воинской был, несмотря на присутствие великого князя киевского, старшего из всех, первым, – тоже вспылал... Еще немного – и засверкали

---

<sup>1</sup> Вой – воин.

мечи дружинников и сабли половцев, и седой Днепр покати́л изрубленные тела татар к поро-  
гам... Взялись за рябого.

– Кто ты? Откуда?..

– Зовут меня Пlosкиней, а родом я новгородец, – смело отвечал тот. – Шел я с гостями<sup>2</sup>  
новгородскими Волгой на Хвалынское море, да наткнулись мы на татар: караван наш весь  
пограбили, а потом сожгли, а меня вот в полон взяли.

Его оставили в покое.

– Рать, – решил Мстислав Удалой.

– Рать, рать, – радостно подхватила молодежь. – Не целоваться мы сюда с ними сошлись  
со всех концов Руси.

И потянулись русские полки вдоль берега Днепра к Олешью. На первом же привале,  
ночью, из стана исчез, точно сквозь землю провалился, Пlosкиня. Но не прошло и двух ден,  
как навстречу им снова бесстрашно выехали послы татарские. И снова был с ними рябой Пlos-  
киня. Снова и снова просили они князей воротиться, обещая не трогать рубежей русских,  
и было в их бесстрашии что-то такое, что заставило князей отпустить их хоть и без мира, но  
на этот раз с головами.

Жаркой, преждевременно увядшей от засухи степью русская рать, сверкая оружием,  
длинной змеей растянулась вдоль берега Днепра. Хотя измена рязанцев, запоздание суздаль-  
ской рати и это странное присутствие в рядах татар рябого Пlosкини и смущало, но шли  
резво, с верою в дело. И вдруг точно искра по полкам пробежала: дозоры поместили впереди  
татарские разъезды... Данила Романович на лихом угорском скакуне своем – они звались на  
Руси фарьями – сразу загорелся и понесся в степь. За ним поспели и другие молодые князья:  
уж очень хотелось им померяться скорее силами с неведомыми степняками, которые нагнали  
такого страха даже на неробких половцев. Но татары ждать их не стали и скрылись в высокой  
траве. Молодежь, храбры<sup>3</sup>, так и горели.

– Княже Мстиславе и ты, князь Мстислав Романович, – окружили они Удалого и князя  
киевского, – не стойте! Пойдем скорее противу им... Мы их побьем...

Удалой рассмеялся: люб ему был молодой задор храбров! Но у него уже была своя думка:  
он был ревнив к славе воинской, и захотелось ему не только первому, но одному ударить на  
татар и взять всю славу победы себе. Он бил ворогов Руси на всех окраинах ее и ни разу еще  
не знал он поражения.

– Стой, братья. Во всем должен быть порядок, – сказал он. – Дела хватит всем. Передом  
надо идти человеку бывалому. Я пойду сторожевым полком сам, все высмотрю, а там потянете  
и вы.

И недолго думая с тысячью человек своих галичан он переправился через Днепр – рать  
шла правым берегом – и скоро наткнулся на небольшой передовой отряд татар. Закипело  
сердце старого воина; блеснул его меч харалужный, во многих боях испытанный, и бешеной  
лавиной бросились его конники на врага. Недолга была схватка горячая: конники, секуще<sup>4</sup>,  
уже гнали врага в глубь степей, а другие уже занимали табуны и стада татарские...

Разгоряченный первым успехом, старый Мстислав бурно устремился в степь. Остальные  
полки спешно переправлялись через Днепр и спели<sup>5</sup> за ним. Девять дней шла русская рать  
палящими степями и достигла, наконец, берегов небольшой степной речки Калки, дремавшей  
среди зеленых камышей. Дымы костров за Калкой показали им, что там – и недалеко – стоят

---

<sup>2</sup> Гости – купцы.

<sup>3</sup> Храбр – сильный, удалой витязь.

<sup>4</sup> Секуще – сражаясь.

<sup>5</sup> Спели – попевали.

главные силы татарские. И невольно дрогнуло сердце даже и у храбрых: и конца-краю словно не было стану татарскому!..

Мстислав Удалой – с молчаливого согласия всех он продолжал распоряжаться всем делом – приказал Даниле Волынскому переправиться со своим полком и некоторыми другими через Калку. Тот так и загорелся: «бе бо дерз и храбр и от главы и до ног не было в нем порока»<sup>6</sup>, а вслед за Данилой переправился и сам Удалой со своими галичанами. Верного слугу своего Яруна выслал он вперед с половцами сторожевым охранением, а русским полкам повелел стать станом, но не утерпел и сейчас же поскакал со своими дружинниками вслед Яруну. Окинув издали, с шеломяни<sup>7</sup>, глазом полки татарские, он снова полетел к своим и велел скорее готовиться к бою. Ни Мстиславу Киевскому, ни Мстиславу Черниговскому он не сказал ни слова: был он в нелюбви с обоими и хотел всю славу взять себе...

Данила ехал со своими боярами-дружинниками передом. Татары, пометив приближение полков русских, уже выстроились, чтобы встретить их. И огненным вихрем ринулся на них Данило со своими и на первом же приступе получил рану в грудь. Молодой и сильный, буести ради, он не почувствовал раны и рубил, как бешеный, направо и налево. Мстислав Немой, увидев, что Данило ранен, ринулся с красным уже мечом в руке к нему на помощь. Крепко подвизался бок о бок с ним Олег Курский. Татары, закрывшись плетеными из хвороста щитами, метко поражали русских воев длинными стрелами, которые железными наконечниками своими пробивали даже и добрые кольчуги. Их военачальники – в противоположность русским князьям, которые честью считали рубиться в первых рядах, – стояли на конях в отдалении, на возвышении, окруженные своими женами и близкими, все верхами, и смотрели на кровавый бой...

Татары дрогнули и побежали. Ярун с половцами ударил им в затылок, но татары, увидав половцев, озлобились, повернули хающих коньков своих обратно и ударили по степнякам. Половцы замешкались. Татары, почувствовав это, с диким воплем нажали, и половцы в страхе бросились прямо на станы русских князей, которые, поздно узнав о начале битвы, не успели еще построить полков своих в порядок. И половцы смяли все: пеших, конных, обоз... Татары навалились на сбитых половцами русских, и началась в диком шуме сеча злая, лютая...

Даниле не стало мочи. Грудь его горела. Рука устала рубить. Он поворотил истомленного, покрытого кровью коня к Калке, вынесся из кровавой бури и припал к воде напиться. И вдруг сзади услышал он крики страха. Он живо вскочил: русские полки побежали. Он поскакал за своими, и сердце его упало: вместе со всеми бежал Удалой, бежал в первый раз за всю долгую жизнь свою!..

– Княже! – в отчаянии крикнул он старику. – Да что же это такое?!

– И сам не ведаю, – в испуге на скаку отвечал Удалой. – Я сам с дружинниками своими слышал, что татары скликались между собой по-русски: словно это наши, переодетые татарами, были... И до того напугались этого вои мои, что сразу бросили все и побежали...

Он уже понял свою ошибку – что начал бой, не сказав ничего другим князьям, – и душа его болела.

– Да полно! – воскликнул Данила. – Может, помстилось тебе?..

– Заворачивай, заворачивай, княже, давай! – вдруг закричали, заскакывая сбоку, татарские наездники на чистом русском языке. – Только бы эти, в золотых-то оплечьях, не ушли!

И, рубясь, они бросились к князьям... Данила просто ушам своим не верил, как и все. Смятение еще более увеличилось в русских рядах.

На высоком берегу Калки, на шеломяни, стоял со своим полком старый Мстислав, великий князь киевский. Как и Мстислав Удалой, он все время держался на отшибе: он надеялся

---

<sup>6</sup> Поскольку был дерзкий и храбрый и полностью, с головы до ног, безупречен (*др.-русск.*).

<sup>7</sup> Шеломя, шеломянь (*др.-русск.*) – холм или цепь холмов.

с одним только своим полком справиться с татарами. Но и он уже понял свою ошибку и решил не принимать, по крайней мере, сраму на свою седую голову. Пока татары грудь с грудью рубились с другими русскими полками, его вои торопливо строили укрепление из телег обоза. Часть татар, конники, бросились в погоню за русской ратью, а часть бешено полезла на шеломянь, к рати киевской. Киевляне бились, как звери, и никак не давались татарам. С исступленным визгом те снова и снова лезли на стан и снова, как волна от берега, все в крови, откатывались назад...

И только ночь прекратила сечу...

Но едва чуть забрезжил светок за степью бескрайной, как снова татарва – дух от нее был такой, что дыхание перехватывало, – упрямо полезла на приступ, снова откатывалась назад и снова, приходя во все большее и большее исступление, лезла на киевлян. Те рубились уже из последних сил. Между телегами и на телегах, и под ногами стыли тысячи окровавленных изрубленных трупов, вопили и умирали раненые, но никто на них уже не обращал внимания: по ним ходили, на них падали, за ними прятались от ударов врага...

– Княже, – задыхаясь и размазывая по исступленному, потному лицу кровь, проговорил какой-то вой, подходя, шатаясь, к князю. – Хошь верь, хошь не верь, а среди поганых рубятся против нас и наши...

– Окстись, парень! – усмехнулся старик. – Зарьял от боя, вот нись что тебе и мерещится...

И мечом он молча указал дружинникам, где в одном месте киевляне ослабли. Дружинники ринулись туда.

– Вот истинный Господь, княже! – перекрестился тот, и на лице его было удивление. – Сам глазам своим не верил, а так...

– Ну, будет, будет тебе! – сказал князь. – Присядь, отдышись маленько... А то и не то еще привидится.

Вой с усмешкой покачал головой – у него было добродушное лицо и добродушная бородка с сединой – и вдруг, словно что-то придумав, побежал к телегам, у которых среди визга татар, криков киевлян, скепания щитов червлёных, лома копейного и лязга мечей и сабель точно прибой морской кипел. И не прошло и получаса, как тот же вой – князь Мстислав заметил его добродушное, истомленное лицо – в сопровождении других воев подвел к князю только что захваченного пленника.

– Ну вот, не верил, княже, теперь удостоверься сам... – едва переводя дух, проговорил он. – Наш, собака!

Мстислав удивленно взгляделся в худощавое, все окровавленное лицо пленника, на щеке которого на розовой нитке страшно висел выбитый глаз. Крепко сжав зубы, раненый тихонько стонал и, видимо, только с усилием держался на ногах.

– Чей ты? – строго спросил князь. – Погоди: если скажешь правду, откуда вы там, среди татарвы, взялись, я боюсь тебе отпустить тебя на все четыре стороны...

Раненый через силу усмехнулся.

– У меня одна дорога, княже, в могилу... – едва выговорил он и сплюнул в примятую, пыльную траву кровь. – А кто мы и откуда, нам того таить не приходится. Бродники мы, со всех концов Руси собрались тут...

Кровь бросилась в лицо Мстиславу.

– Хороши!.. – воскликнул он. – С погаными... А крест-то есть на тебе?

– Был, княже, да выбросил... – подавив стон, отвечал бродник. – Без надобности он нам, как и вам... А что к поганым-то мы попали, так кто ж нас к ним загнал, как не вы?.. От князей да бояр житья на Руси не стало – вот и пошли мы, собравшись, против вас, чтобы хоть за кровь человечью с вами сосчитаться... ты думаешь, что раз ты, князь, так тебе и хоромы нужны златоверхие, и девки, и казна золотая, а нам, смердам, и корки сухой довольно? Врешь, старик: дышать и нам хочется... Вот и сошлись... и... пошли...

Он пошатнулся и вдруг рухнул на пыльную траву. И поднял на князя уже затуманившийся смертной истомой глаз.

– Кому Русь мать, а кому и мачеха, княже... – едва выговорил он, снова выплевывая кровь. – Вот и... пошли с по...гаными... места себе на Руси... искать... А не нашли бы, так хоть... с вами, волостелями, посчитались бы...

Дикий визг вдруг покрыл его слова. Татары прорвали в одном месте стену защитников и пробились за телеги. Мстислав выхватил меч и вместе с теми дружинниками, которые на всякий случай стояли около черного стяга великокняжеского, бросился к прорыву. И опять оттеснили татар прочь... Князь сейчас же поскакал назад: он впервые слышал такие дерзкие речи, и ему хотелось допросить бродника до конца. Но пленник, уткнувшись окровавленным лицом в траву, уже лежал без движения. И, поникнув головами, печально стояли над ним изловившие его вои...

Бой кипел. До самого вечера бились истомленные киевляне с погаными. Те, в исступлении, точно в чертей каких превратились, которых не останавливало уже ничто. И только ночь прекратила опять страшную резню. За черной степью жутко мигали зарницы тихие, и смерть незримо реяла над окровавленным станом обреченных. От трупов павших поднимался уже тяжкий дух тленья...

На зорьке неподалеку от телег выросла вдруг высокая фигура Пlosкини.

– Стой! Не стреляй! – подняв руку, крикнул он. – Я от хана слово принес.

Русские вои пропустили его через завал из телег и изуродованных и окровавленных тел раненых и мертвых, которые валялись повсюду. Князь Мстислав нахмурился: он сразу узнал рябого, что приходил с татарскими послами переводчиком.

– Что тебе? – строго нахмурил он брови.

– Княже, против силы татарской тебе не выстоять, – сказал Пlosкиня своим тяжелым басом. – Ты это сам уже видишь. Все полки русские уже разбиты – только твои киевляне еще держатся. Хан обещает отпустить тебя с твоим полком, ежели ты согласишься заплатить ему искуп.

Бледный и усталый, князь усмехнулся.

– А кто же нам порукой будет, что татары твои не обманут нас? – сказал он, стараясь подавить в себе отвращение к изменнику: он видел, что вои его изнемогали и что осталась их горсть.

– Я готов крест за них на том целовать... – поднял на князя свои дерзкие соколиные глаза бродник.

– Ну недорого стоит крестное целование изменника!

– А ты думаешь, что крестное целование князей русских стоит дороже? – усмехнулся тот. – Вы только и делаете, что один другому крест целуете, а потом один другого тут же и душите... И какие такие бродники изменники? Что в холопах-то они у вас страдать не хотят? Измена в этом невелика. Хочешь, давай попробуем: я сяду князем на стол киевский, а ты ко мне на конюшню кощеем ступай – тогда и поглядим, надолго ли твоей верности хватит! Да нам спорить времени нет: я прислан от хана. Хочешь, давай искуп и иди со своим полком на все четыре стороны, не хочешь – все равно пропал...

Мстислав повесил седую голову.

– Хорошо, согласен... – сказал он с трудом. – Пусть хан сам назначит искуп. А ты все же целуй за них, поганых, крест. Отче, дай ему крест, – обратился он к зеленому от страха попику, который стоял сзади него с немногими уцелевшими дружинниками.

Попик дрожащими руками поднес броднику крест. Тот, усмехнувшись, перекрестился и поцеловал распятие. Кивнув князю, он исчез за валом мертвых тел и, вскочив на своего коня, вихрем понесся в татарский стан. И скоро по степи запели татарские трубы, и татарские полки, выстроившись, вытянулись перед своими кибитками. Изможденные русские вои лежали на

пыльной, залитой кровью траве. От татарского стана отделилась небольшая группа всадников: то был герой Калки хан Бурундай. Они въехали на шеломянь – бродник Плоскиня сопровождал их – и презрительно смотрели на расстроившиеся ряды киевской рати. Еще мгновение, князя с Мстиславом во главе были схвачены татарами, конники татарские, с саблями наголо, с диким визгом, как наводнение, ринулись за вал, и – все было кончено...

Торжество татар над киевской ратью было полное. Всюду, среди тысяч мертвых тел, запылали костры для пира. В воздухе стояла нестерпимая вонь трупов и варящейся конины, от которой Русь всегда с души тянуло. И, когда варево было готово и принесли кумыс, татары со смехом притащили для своих воевод несколько досок. Под эти доски они уложили мертвых и умирающих русских князей, и воеводы, хохоча, сели на них вокруг большого костра пировать. И слышны были под ними стоны и хряст костей... «И тако ту сконча князи живот свой...»

Погоня же татарская не отставала от бегущей русской рати и без пощады секла всех отстававших. Так погиб князь Святослав Яневский, и Изяслав Луцкий, и Святослав Шумский, и Мстислав Черниговский, и Юрий Несвижский, и много доблестных храбров земли Русской. Из воев же спаслась едва десятая часть: так, в пятницу, 31 мая, «убийство бесчисленное сотворися». Половцы деятельно помогали татарам, убивая беглецов из-за коня, из-за плаща, из-за оружия... И Мстислав Удалой, едва живой от позора, переправившись на другой берег Днепра, тотчас же распорядился изрубить и сжечь все лады, чтобы страшным степнякам нельзя было перебраться за Днепр...

С окровавленных берегов тихой, задумчивой Калки страшной лавиной двинулись татары степями на Русь, все предавая огню и мечу и отгоняя великий полон. Некоторые городки и селения выходили к ним навстречу с крестами и иконами, но пощады не было никому. И так, дойдя до Новгорода святополческого, что на Днепре стоял, близ Витичева, верстах в сотне от старого Киева, татары вдруг, неизвестно почему, повернули назад и – исчезли в бесконечных степях...

И не успела Русь передохнуть от страшного погрома, как снова закипели в ней повсюду кровавые свары княжеские: и в Галиче, и на Волыни, и в Киеве, и в Курске, и в Новгороде, и в Володимире Залесском, и в Смоленске, и в Чернигове. В Галиче баламутили бояре и призывали на помощь угров, ляхов и половцев. Псков воевал с Литвою, ссорился с Новгородом и начал сговариваться против него с немцами, которые, почти уже покончив со славянским Поморьем, все упорнее стремились на Русь. Наместник Христа, папа, дал буллу, разрешающую образование духовно-рыцарского ордена, обязанностью которого было бы распространение католичества среди язычников не только словом, но и – мечом. Сперва орден этот назывался *Fratres militiae Christi*, а потом просто *gladiferi*, но Русь почему-то скоро переделала это в «дворян Божиих». И вот дворяне Божии, продвигаясь берегом Варяжского моря, крестили туземцев направо и налево. Крещеные бросались в Двину, чтобы смыть с себя крещение. Немцы мучили, убивали тысячами туземцев и сжигали селения, а те, ожесточившись, убивали, живо жарили и съедали своих врагов, дворян Божиих...

А на Руси люди, книжному делу хитрые, все гадали о татарах: откуда они пришли? Куда скрылись? Какой язык у них? Какая вера? Какого рода они? Куда делись бродники, им помогавшие? И одни говорили, что это прежние печенеги, другие называли их таурменами, безбожными моавитянами, а третьи заверяли, что это те самые народы, которых побил в свое время Гедеон, что пришли они из пустыни между Востоком и Севером, что это о них предсказывал святой Мефодий Патарский: прийти им к скончанию века и попленив всю землю от Востока и до Евфрата, и от Тигра и до Понтского моря, кроме Эфиопии... Мнения ученых, как известно, всегда расходятся. А православные, которые попроще, те, помавая<sup>8</sup>, главами,

---

<sup>8</sup> Помавать – кивать, покачивать.

говорили, что Бог один знает, что это за люди, а наслал Он их на Русь за грехи ее, вспять же обратил, ожидая покаяния ее.

## Володимир Залесский

Земля Суздальская, лежавшая за лесами вятичей, исстари звалась Залесьем. Заселение этого бедного финского края продвигавшимися все дальше и дальше славянами началось еще в самой глубокой древности. Сюда пришли вятичи с Оки, радимичи с Сожа, кривичи с Верхнего Днепра и новгородцы с ильменской стороны, слились тут в один народ и быстро поглощали весь, мерю, мурому и мешеру, которые обитали по лесам. Земледелие тут было не так удобно, как на благодатном Юге, и потому народ занимался больше ремеслами: были деревни плотников, каменщиков, кузнецов, кожевников, ткачей, лапотников, сапожников, мельников, корабейников, сундучников, огородников, тульников (изготавливающих колчаны). Ходили мужики исстари и в отхожие промыслы по городам и торговлишкой занимались немудрящей...

Когда Русь в половине XII века распалась между потомками князя Володимира на отдельные княжества, Залесье стало уделом Юрия Долгорукого, младшего из сыновей Мономаха. Хороший хозяин, человек не только твердый, но даже суровый, князь Юрий деятельно занялся устройением своего удела, расчищал леса, прокладывал дороги, приводил, взяв за шиворот, язычников в веру христианскую и, конечно, строил городки: Переславль, Юрьев, Дмитров, Москву. На месте Москвы – Москва значит по-фински «мутная вода» – стояло в ту пору имение боярина Кучки. Долгорукий приказал предать боярина смерти – он слюбился с его женой, – а сыновей его и красавицу дочку, Улиту, отослал в Володимир. Место ему так понравилось, что он повелел тотчас же поставить тут деревянный городок... Но Юрия все же тянуло на юг, в первопрестольный град Киев, где потом он и помер. Но сын его, Андрей, Киев не любил: и вече стесняло его, и близость поля Половецкого с его постоянными бранными тревогами, которые мешали работать. «Хоть щей горшок, да сам большой», – справедливо думал он и, бросив данный ему отцом в удел Вышгород, против воли отца ушел в суздальские леса. Но и там властному князю не любы были ни старый Ростов, ни старый Суздаль с их гордым боярством и шумными вечами. И вот он выбрал себе маленький городок на Клязьме, поставленный не то его дедом Мономахом, не то даже самим Володимиром. Чтобы положить конец сварам княжым, истощавшим силы молодой Руси, он выгнал из своей земли не только старых бояр, но даже своих братьев и племянников и взялся за устройство края. И по мере того как трудился он, Киев все больше и больше терял свое значение: его сила разделилась между Галичем на юго-западе и Володимиром на северо-востоке...

До сих пор для князей существовало два права: происхождения и избрания вечем. Но к этому времени все это перепуталось чрезвычайно и было в значительной степени изжито. И хитрый Андрей понял, что надо создать новое право: высшее непосредственное благословение Божие. Ему казалось, что духовенство – влияние его росло – является единственной силой, на которую можно опереться. И он сумел приобрести расположение батюшек. Его можно было часто видеть в храме – строил он их без числа, – на молитве, со слезами умиления, с громкими, сокрушенными воздыханиями... Его тиуны-управители и его приятели – попики позволяли себе всякое грабительство и бесчинство, но сам Андрей раздавал всенародно милостыню убогим, кормил чернецов и черниц и со всех сторон слышал за то похвалы своему христианскому милосердию. Нередко он уходил в церковь даже по ночам, сам возжигал свечи и долго молился перед образами: «Андрей к заутрени в ночь входящет в церковь и свечи вжигавашет сам...» Его удачные походы на волжских болгар, завершавшиеся всегда насильственным крещением поганых, еще больше укрепляли его славу христороубца.

В Вышгороде на Днепре была в женском монастыре икона Богородицы, привезенная из Царьграда и писанная, по преданию, самим евангелистом Лукой – в то время, когда и икон никаких не было. Об иконе этой ходили в народе самые замечательные слухи. Межу прочим, уверяли, что, будучи поставлена у стены, она ночью сама становилась посреди церкви, как

бы показывая этим, что она хочет уйти в другое место. Подговорив дьякона и попа монастырского, Андрей украл эту икону и вместе с ней и своей семьей убежал в землю Суздальскую, чтобы показать тем народу, что над землей Суздальской почиет особое благоволение Господа. На пути икона творила всюду исцеления. Так как Андрей никак не хотел отдавать икону ни Ростову, ни Суздалью, то по дороге случилось и еще чудо: кони под иконой стали недалеко от Володимира и никак не могли стронуть икону с места. Делать нечего: пришлось ночевать в поле. Для князя раскинули шатер. Наутро, восстав ото сна, он объявил всем, что в ночи ему явилась Пресвятая Богородица и приказала ему поставить ее икону во Володимире, а тут, на месте видения, при селе Боголюбове, заложить монастырь. Князь все так и сделал: в Володимире он поставил храм Богородицы Златоверхой, а тут, при Боголюбове, монастырь. «Всею добродетелью церковною исполнены, измечтаны всею хитростию». В постройках принимали участие не только суздальцы, но и иноземцы: мастера были присланы князем, Фридрихом Барбароссой и императором византийским Мануилом Комнином...

Все это, вместе взятое, дало молодому городку возможность стать выше старых Ростова и Суздаля с их гордым боярством. Но сил небесных князю Андрею – он получил вскоре прозвище Боголюбского – в борьбе его за единодержавие было недостаточно, и он весьма охотно пускал в дело для этой цели и силы земные. Когда в неугасимых смутах княжьих – плодились они с невероятной быстротой – он пришел в столкновение со старым Киевом, то двинул против матери городов русских рать и взял город на копье. Дома, церкви и монастыри предавались христороубцу пламени, безоружный народ, не исключая женщин и детей, не находил себе никакой пощады. Грабеж и разорение совершались такие, что Киев в несколько дней превратился в развалины, и таким образом молодой Володимир возвысился еще более...

Разделавшись с Киевом, христороубец взялся за Новгород, который князю вообще был бельмом на глазу. Но тут коса нашла на камень, и христороубец был побит своим же собственным оружием: когда суздальская рать осадила Господин Великий Новгород, владыка Иоанн, не будь дурак, увидел в ночи видение, будто икона Спаса явилась и сказала ему: «Иди на Ильину улицу в церковь Спаса, возьми икону Пресвятой Богородицы и вознеси ее на забрало стены». Владыка так и поступил. И Богородица напустила на суздальцев такое затмение, что они стали пускать стрелы один в другого. Андрей вынужден был осаду снять. Но борясь не только с вечем новгородским, но и с новгородской Богородицей, он запер подвоз хлеба к Новгороду с Поволжья, в торговле образовался застой, и народ стал голодать. Начались переговоры: Новгород сохранил за собой старые права свои, а Андрей получил право посылать ему тех князей, которые ему, Андрею, были любы... Все более и более входя в силу, Андрей начал командовать князьями и боярами без всякого стеснения. Но он скоро кончил земное поприще: был убит боярами кучковичами, его же родственниками по жене, красавице Улите, дочери боярина Кучки, на крови которого стала Москва. Боголюбово было дотла сожжено, разграблено его же дружинниками и населением Боголюбова. И тело его, совершенно обнаженное, целых трое суток валялось на огороде...

Воспользовавшись смутой в Володимире, и Ростов, богомольная сторона, и Суздаль подняли голову. «Изначала новгородцы, смоляне, киевляне, полочане и все власти, как на думу, на вече сходятся, – мудро рассуждали они на вече, – и на чем старшие положат, на том и пригороды станут. Володимирцы наши холопы и каменщики – сождем Володимир или поставим в нем опять своего посадника...» На сторону Ростова встали Суздаль, Муром и Рязань. Переславль колебался туда и сюда. И вот ростовская рать осадила Володимир и заставила его подчиниться: в Ростове стал княжить угодный ростовцам Ростислав, а в Володимире – Ярополк, сын Боголюбского. По молодости оба были в руках бояр, которые грабили народ, как только хотели. Посадники и тиуны Ростислава – все южане – тоже бесчинствовали чрезвычайно. Советники Ярополка захватили даже ключи от кладовых Богородицы Златоверхой и начали расхищать ее сокровища, а пограбить там было что: не говоря уже о злате, серебре и камнях самоцвет-

ных, сколько было там «порт шитых золотом и жемчугом, яже вешали на праздник в две верви от Золотых Ворот до Богородицы, а от Богородицы до Владычных сеней во две верви чудных...». Глеб Рязанский захватил даже чудотворную икону Владычицы. Этого володимирцы никак уж снести не могли, поднялись, и снова началась кровавая каша. Глеб привел половцев, сжег Москву, разграбил Боголюбово. Но володимирцы за это время успели утихомириться и выбрать себе князем брата Андрея Всеволода – во святом крещении Дмитрия, – который, встретив Глеба на берегах Коклюши, наголову разбил его.

Всеволод – за большую семью его прозвали Большим Гнездом – оказался человеком хозяйственным и твердым, быстро привел всех к повиновению и продолжал дело Андрея: укрепления на Руси единовластия, политического значения православия, тесного единения церкви и государства и возвеличения Суздальского края... Уделов в Суздальском княжестве он не давал никому и выгнал из пределов его даже сына Боголюбского, князя Юрия. Тот ушел в степи к половцам: его бабушка, жена князя Юрия Долгорукого, была половчанка. В Грузии в те времена сидела на престоле знаменитая царица Тамара. Ее вельможи и батюшки искали ей достойного жениха. Один знатный муж указал на князя Юрия Андреевича. Вельможи одобрили, и к князю Юрию в степь был послан для разговоров по душе один грузинский купец. Юрий прибыл в Грузию, женился на красавице Тамаре и вскоре ознаменовал себя ратными подвигами в войнах с соседями. Но потом, заскучав, стал пить, гулять, и Тамара вынуждена была боярами развестись с ним и выслать его из Грузии в Грецию. Он, однако, возвратился в Грузию, пытался поднять восстание, но был побежден и снова изгнан. Дальнейшая судьба его неизвестна...

Всеволод воздвигал в Володимире храмы, ходил ратью на соседей, на половцев, на болгар и всячески украшал свой стольный город. Но как только он помер, между князьями суздальскими снова начались кровавые свары, и один на другого воздвигал<sup>9</sup> с гневом брови. Дело кончилось тем, что на стол посадили Георгия II. Несмотря на постоянно опустошавшие столицу пожары, город продолжал украшаться как наружно, так и духовно: в 1230 году, шесть лет спустя после битвы на Калке, стольный город суздальский имел счастье обогатиться мощами святого Авраамия. Кто был этот Авраамий, совершенно неизвестно. Известно было только то, что был он купцом, нерусским и, по-видимому, даже неправославным. Он приехал откуда-то по торговым делам с Востока в Великие Болгары. Болгары схватили его и стали принуждать приобщиться к истинной вере Магометовой. Он не поддавался и потому был, как и полагается, умерщвлен. Русь, торговавшая тогда в городе, спрятала тело мученика на христианском кладбище, а в 1230 году отправила его в Володимир. Великий князь Георгий со всем своим семейством, епископ Митрофан с клиром и игуменами и великое множество народа суздальского встретили святые мощи за городом и с торжеством положили их в монастыре, основанном супругой великого князя Всеволода и названном потому Княгининым. Хотя в летописи 1218 года и говорится, что «приде епископ полотский из Цесаря-града к великому князю Костантину в Володимер, ведый любовь его и желание до всего божественного церковного строения до святых икон и мощей святых, и до всего душеполезного пути, ведущего в жизнь вечную, и принесе ему етеру (некоторую) часть от Страстей от Господень, яже нас ради владыка Иисус Христос от иудей претерпев пострада, и мощи святого Лонгина, мученика, сотника, святые его руце обе, и мощи святой Марья Магдалины», но к этому времени мощи Магдалины и «часть от Страстей от Господен» куда-то исчезли, и в городе были только мощи сотника Лонгина, частица их, тогда как в Ростове Великом почивали мощи святого Леонтия. В этом володимирцы видели поруху<sup>10</sup> стольному городу и потому были чрезвычайно обрадованы прибытию мощей неизвестного купца Авраамия, хотя бы и неправославного вероисповедания...

<sup>9</sup> Воздвигать – здесь: поднимать.

<sup>10</sup> Поруха – бедствие, опустошение, несчастье.

Но чем уж никак не могли ни Ростов, ни Суздаль с Володимиром равняться, даже отдаленно, это – местоположением. Ростов еще красило большое озеро Неро, а Суздаль лежал среди такого унытия, что просто плакать хотелось. Володимир же, раскинувшийся по зеленым холмам над светлой Клязьмой, удивительно напоминал собой Киев: та же река внизу, те же луга необозримые на той стороне, а за ними темно-синяя туча лесов дремучих, среди которых прятались редкие серенькие деревушки... О Киеве напоминали здесь и названия многих володимирских урочищ: как в Киеве, так и здесь была речка Лыбедь, как в Киеве, так и тут был пригород Переяславль, который, как и южный тезка его, лежал и тут на Трубеже. Золотые ворота были и в Киеве, и в Володимире. И если был Галич на Днестре, то и тут был Галич Мерский – в земле мери – и если на юге был Стародуб Черниговский, то и тут был Стародуб Клязьминский, и был Володимир на Волыни и был Володимир тут, в Залесье. В этом ярко сказалось глубинное единство племен славянских, раскидавшихся по необозримым пространствам Руси...

Город володимирский, среди которого царил Богородица Златоверхая, красовался на крутом берегу Клязьмы. Другим концом упирался он в Лыбедь. На Клязьму выходили ворота Волжские, а на Лыбедь – Медные и Оринины. Ворота внешнего города, острога, обращенные к устью Лыбеди, звались Серебряными, а на противоположном конце, к Москве, – Золотыми. На них, наверху, была устроена, по древнерусскому обычаю, церковка Ризоположения. В городе же стояли и хоромы княжеские, златоверхие, из которых в собор Дмитровский был поделан даже ход крытый для семейства княжеского. И если у Богородицы Златоверхой стояла сама Матушка Царица Небесная из Вышгорода, то в Дмитровском соборе была чудотворная икона святого Дмитрия Солунского, которая источала мирру, и хранилась срачица, сиречь рубаха, святого... Были по городу и другие церкви и монастыри, и красносотрителен был стольный град с золочеными верхами своих соборов издали, из лесов дремучих, где наряду с русскими деревнями гнездилась еще и мещера, и мурома, коснеющая в глубоком язычестве...

А вокруг Володимира стольного неоглядно раскинулась Суздальская земля: на севере да на западе она с владениями Господина Великого Новгорода сумежна была, на востоке – с болгарями, а промежду болгар и суздальцев, по Свяге – ах, и гожи же в ней стерляди были!.. – мордва дикая уселась, которая поклонялась богу Шка, да богу Керемети, да дуплинам старым, источникам гремучим, и упорно, жестоко боролась с наседавшими на нее со всех сторон батюшками. С юга же лежали княжества Рязанское и Черниговское.

И по неоглядным лесам, болотам этим цвели под покровом Господа Бога, пречистой Матери Его и святых Божиих угодников города и селения всякие. В тридцати верстах от Володимира, среди равнин унылых, скучал старый Суздаль на речке Каменке. К западу от него красовался Юрьев Польской, названный так потому, что лежал он среди тучных черноземных полей, в отличие от другого Юрьева, что на Волге срублен был. На озере Клещине лежал Переяславль, славный своим Никитским монастырем. В нем спасался в свое время переяславльский гражданин Никита, который бросил вдруг все свое несправедливо нажитое богатство и семью и жил на столпе, утруждая себя строгим постом и молитвой неустанной. Не менее святыни было и в Ростове Великом. Ростовская земля долго упиралась познать Бога истинного: просветители ее, епископы Феодор и Илларион, «не терпяще неверия и досаждения людей избегоша». Но с тех пор ростовцы исправились, и край их теперь так и звался повсюду: богомольной стороной. Ростовцы усердно занимались и огородничеством, и рыболовством, и солеварением, и хмелеводством, и льном, и звероловством – хлебопашество шло у них на болотах слабо. На устье Которосли и на берегу Волги Ярославль стоял, в устье Вазузы – Тверь, на Волге – Угличе Поле, а на Костромке – Кострома. Ниже ее был Городец Радилов, а еще пониже – Нижний Новгород, против болгар поставленный. Выше, к меже новгородской, цвел Устюг, на озере неоглядном красовался Белозерск, и Галич стоял на озере же, славном своими ершами и снетками. На Яхроме стоял Дмитров, а неподалеку от него затерялась среди лесов дремучих

маленькая Москва. На высоком берегу реки Оки, среди могучных<sup>11</sup> лесов, Муром царствовал, а неподалеку от Нижнего благоухал добродетелями граждан своих Городец, известный под именем города Богородицы, ибо князь Андрей отдал его своему любимому храму Богородицы Златоверхой... На речке же Тезе лежало бойкое селение Шуя...

И все эти города и городки были украшены храмами Божиими и святыми обитателями. Правда, сперва церкви эти частенько по неумению строителей падали, но потом суздальцы наострились ставить их как следует и своим искусством каменщиков прославились на всю Русь. Церкви эти были все об одном верхе, то есть одноглавые, и обильно были заплетены украшениями оборонными – то есть резьбой по камню, – что и составляло особую прелесть в строениях суздальских.

По городам и городкам этим князья сидели, а вокруг них, как полагается, дружина хоробрая кормилась да чины придворные всякие, дворяне: дворский, стольник, меченоша, печатник, ключник, конюший, ловчий, седельничий, писец, или дьяк, кормильцы, или дядьки для княжичей юных, игрецы и скоморохи. Старосты, тиуны, ключники смотрели за хозяйством княжеским, за его именьями, в которых трудами сотен кощеев воздвигались стога бесчисленные и золотые скирды, гуляли стада неоглядные и огромные табуны коней. И были у князей свои рыболовы, бобровники, бортники – они в северных краях древолазами назывались – и всякие другие искусные промышленники. В огромных кладовых, под замками железными, немецкими, сберегались большие запасы железа и меди, мехов, дорогих тканей и всякого добра. В медушах меда вековые пенные выдерживались... Дружинников у князей было немного, даже у больших князей несколько сот: этого было для поддержания порядка в княжестве достаточно. А для войны воев князья по городам набирали – опять-таки немного: самые сильные князья выставляли в поле не более трех тысяч...

Но суздальцы, видя великолепие князя своего, окруженного своими боярами, – летопись зовет их за свары постоянные «проклятыми думцами» – и воев его, оружием сверкающих, гордо подбоченивались и презрительно на недругов поплеывали: «Ну, чего там – седлами закидаем!..» Поэтому и бывали они не раз, и жестоко, биты. Но форсу своего они нисколько не спускали: «Мы-ста да вы-ста – ты погляди-ка, какая сила у князя-то нашего: семнадцать стягов, да труб сорок, да бубнов столько же... Говорить-то ты с нами говори, а оглядывайся!..»

---

<sup>11</sup> Могучный – могучий, сильный.

## О бесе, творящем мечту

По крутому скату зеленого холма, среди вишневых садов – вишня володимирская славила как всем вишням вишня – стояла крохотная церковка Миколы Мокрого. Раз, в праздник святых Бориса и Глеба, благочестивые киевляне шли помолиться к гробницам святых в Вышгород – и сухопутьем, вдоль берега, и на челнах, Днепром. Туда же направился со своей семьей и один богатый киевлянин. На возвратном пути уставшая мать задремала и уронила своего младенца в воду. Тот, чистая душенька, утонул. Призывая святого Николая на помощь, огорченные родители прибыли в свое жилище. В ту же ночь, перед заутреней, свещегасы<sup>12</sup> Софийского собора, пришедшие отпирать церковь, услышали вдруг в ней крик младенца, а потом нашли и его самого: весь мокрый, он лежал перед иконой святого Николая. Немедленно дали знать митрополиту, а тот велел объявить о происшествии всему городу. В мокром младенце родители узнали, ко всеобщему изумлению, своего утонувшего на их глазах сына. И до того чудо это поразило верующих, что во имя этой иконы стали строиться церкви по всей Руси. Построили и в Володимире.

Вокруг церковки, как полагается, притулились те, которые ею кормились: стоял тут немудрящий домик в три окошечка отца Стефана, более известного в народе за свой нрав под кличкой Упирь Лихой, и его свещегаса, престарелого, всегда сердитого Звездила, и крохотная, покосившаяся избенка вдовы Соломонихи, проскурницы, пекшей для церкви просфоры. Все три мизерных домика эти смотрели из-за вишен подслеповатыми окошечками своими на светлую Клязьму и на черно-синие леса заречья. Прямо перед ними расстилалась широкая луговина. На ней любила собираться по вечерам молодежь – песен попеть, поплясать, повеселиться, как бог на душу положит. Посреди поляны той лежал огромный камень, бог весть откуда взявшийся: таких камней по всей округе не было. Цветом был он иссера-красноватый и весь блестел, точно маслом вымазанный – до того гладка была его поверхность. В камне этом, как знали все володимирцы, исстари жил бес, который творил мечту. Камень привлекал к себе со всех сторон и мужей, и жен, и детей, и даже старцев. В особенности в Иванов день, в Купалье, творили володимирцы ему великую почесть скаканием, плясанием и плесканием неподобным...

Бесовский камень этот был бельмом на священном глазу отца Упия: вся его жизнь была одним сплошным боем с нечистой силой. Может, и по духовной части пошел он больше оттого, чтобы больнее ударить по вратам адовым. Сын бедного свещегаса из княжнего села Красного, он – как и многие бедняки – собирал по миру деньги, нужные для того, чтобы поставиться во священники. Высокий, здоровенный, с румянцем во всю щеку, с красивой бородкой, с сердцем, каждое мгновение готовым вспыхнуть священной ревностью о Господе, отец Упирь не жил, а горел, как некая купина неопалимая. Стоит ему остаться одному, голубые глаза его делаются мягкими, нежными, и отец Упирь на ковре-самолете уносится в страну чудес, о которой он не говорит никому, даже попадье своей, но как только вспомнит о силе нечистой и о служителях ее, володимирцах непутных, так из глаз его летят молнии, и отец Упирь гремит, как гремели встарь пророки в Израиле. Горячесть эта часто вовлекала его в большие неприятности. Так, не особенно давно пошел он в праздник после обедни в поля, что между селами Красным и Добрым легли: там исстари происходили кулачные бои между красноселами и доброселами. Владыка Володимирский Митрофан не раз поднимал свое пастырское слово против этого поганого обычая, но невегласы<sup>13</sup> не слушали пастыря и продолжали вышибать один другому ребра и сворачивать скулы. И вот отец Упирь решил в дело вмешаться лично. Он пришел к самому

---

<sup>12</sup> Свещегас – священнослужитель.

<sup>13</sup> Невеглас – невежда.

началу действия, когда уже двигалась с похвальбою великою и великим задирательством стенка на стенку.

– Братья! – возгласил он, простирая могучие длани свои между противниками. – Братья...

Его встретили дикие крики и разбойный, язвительный посвист: и красноселы, и доброселы исстари были великие перед Господом охальники.

– Батька, не мешайся... – крикнул ему кто-то. – А то и тебе по пути ребра прощупают!

– Знай свое кадило!

И враги ринулись стенка на стенку, и начался великий скуловорот. И сразу доброселы потеснили красноселов. Отцу Упирию было страшно досадно, что его земляки, красноселы, как бабы, сдали; сердце его загорелось, руки могучие зачесались.

– Эй, ты, там!.. – вдруг загремел он по полю на одного добросела. – Нешто это можно: под микитки давать, свинья?.. Ты по чести драться должен...

– А поди ты, батька, к... – буйно размахнулся парень.

– Как?! Как ты отцу своему духовному сказать осмелился? – наступая на него, загремел отец Упирь. – Как?!

– Ну, не грози попу плешью, батька, у попа плешь в лопату... – со смехом бросил ему в гневное лицо дерзкий, но не успел он и кончить своего присловья обидного, как могучий удар по уху бросил его на землю.

Отец Упирь сразу запылал боевым огнем.

– Эй, вы, там... красноселы... – загремел он. – Срамники, бабы, куда вы?! Ну, за мной!..

И отец Упирь повел за собой сбрендивших было красноселов так, что доброселы сейчас же пятки показали, и гнали их красноселы до самых их овинов. Победа была полная, а на другое же утро отец Упирь весь в синяках стоял, потупившись, пред владыкой, и тот мыл ему голову и так и эдак...

Ежели у кого на дворе зашалит домовой, отец Упирь бросает всякую работу и спешит православному на выручку: он грозно поет, он гневно кропит по всем углам и гордо возвращается к своей миловидной, но тихонькой, запуганной его буестью матушке... Отец Упирь крепко любил веру православную, а в особенности язык богослужебный, старинный: «дондеже», например, или «во веки веков» – красота!.. А «видехом бо звезду его на востоце»?! Но в то же время и сила бесовская обладала каким-то обаянием, которому отец Упирь никак не мог противиться. Раз он отнял у кого-то из богопротивных володимирцев заговор оборотня, и до того захотелось ему испробовать на себе этот заговор, что он просто ночей не спал. В самом деле, оборотиться в волка, скажем, и носиться, страшая всех, по лесам, по кладбищам, ночью – брр... И до того овладела им бесовская сила, что он раз не вытерпел и вышел в темноте на двор и, весь от предвкушения ужасов леденя, забормотал:

– На море, на окияне, на острове на Буяне, на тихой полянке светит месяц на осинов пень, в зелен лес, на широкий дол. Около пня ходит волк мохнатый, на зубах у него весь скот рогатый, а в лес волк не заходит, и в дол волк не забродит...

Отцу Упирию вдруг показалось, что он уже превращается в волка, и он, весь от ужаса потный – а вдруг забудешь, как из волка обратно в батюшку оборотиться?! – с вытаращенными глазами влетел в избу, забился к матушке под бочок в постель теплую и долго все про себя молитвы всякие творил.

Язычников поганых – по лесам много еще их жило – отец Упирь не терпел и всегда готов был во славу Господню выступить против них во всеоружии буйного слова его, а буде потребует, то и мохнатого кулака: удержу никакого не знал отец Упирь в делах Господних! И до того запугал он всех любителей старинки дедовской, что они от праведного гнева его прятались и всячески старались отводить ему глаза. Был, например, за городом, в сторону Боголюбова, дол Ярилин, а в долу том ключ гремечий, будто бы стрелой громовой пробитый. И исстари

ходила к ключу тому молодежь на Семик да на Троицу попеть, поплясать вокруг березки разряженной, наладить там себе яичницу вскладчину и всячески повеселиться. Отец Упирь всякий раз неукоснительно являлся туда, чтобы помешать неведгласам творить игрища сии бесовские. Тогда те придумали часовенку эдакую непыратую<sup>14</sup> над ключом поставить. Этим закрыли они себя от попа лихого и уже спокойно приносили седому духу ключа-громовника дары свои: и холсты, и полотенца, и – иконки немудрящие. И отец Упирь ничего поделывать не мог.

Попробовал было он выступить и против беса, но тут дело кончилось совсем плохо: толпа парней с рожами, сажей вымазанными, в вывороченных тулупах, сгребла его в темноте и как ни был он силен, так отвозила его, что он потом две недели на печи у себя лежал, и бедная попадья, до смерти запуганная, все отварами какими-то его отпаивала из травок, добытых у ведуна из деревеньки лесной, Раменье, за рекой... И поневоле должен был он оставить камень бесовский в покое, хотя сердце его и закипало при виде этого обиталища силы нечистой всегда, а в особенности теперь, в канун Иванова дня. Он просто излиховался весь и места себе не находил...

Было воскресенье. Погода стояла на удивление: солнечно, тихо и как-то весело. А эти вечера золотые, задумчивые, когда и без беса души человеческие играют не наиграются? Как ни звони там свещегас к вечерням, народ в церковь колом не загонишь – сидят над рекой, в синие дали поглядывают да песенки про себя напевают. И летают их души над землей нарядной, ровно вот касатки быстрокрылые... У камня окаянного пестрым рядком молодежь сидела и, глядя на реку, песню веселую пела:

Как за гортницей, за повалушею  
Не в гусли играют, не в свирели говорят:  
Говорят мои подруженьки на игрища идти...  
А меня ли, малодешеньку, свекровь не пускает,  
Заставляет свекор-батюшка гумно чистить.  
Гумно чистить, метлой мести...  
Уж я в сердце взойду и метлу изломлю, —

веселее зачастил хор, и какая-то красавица вылетела поперед всех и закружилась в пляске бешеной:

И метлу изломлю, и гумно истопчу,  
А сама ли, малодешенька, на игрища пойду:  
Наскачуся, натяшуся, наиграюсь молода!..

Отец Упирь налился огнем: все это прямо на смех ему, отцу духовному, творят неведгласы. Это – неуважение к сану его... Не угодно ли: под самыми окнами!.. Но он помнил рожи, вымазанные сажей, – главное, опять владыка выговаривать будет, а то и епитимью какую загнет! – и, бессильный сделать что-нибудь против неведгласов, метался по крохотной, заставленной темными образами горенке своей, как тот бурый медведь в клетке, которого он видел недавно во дворе великого князя перед травлей...

И вспомнился ему вдруг недавний престол у матушки Боголюбивой, когда и мнихи, и гости их – «ихже не бе мощи и счести» – перепились преизлиха зело. Да и сам он так нахлебался, что едва потом своего Миколу Мокрого отыскал... Да и разве одно Боголюбиво: «в монастырях часто пиры творят, созывают мужи вокупи и жены и во тех пирах друг друга преуспевают, кто лучший сотворит пир. Сия ревность не по Боге...» Прав Даниил Заточник, иже о чернецах глаголет: «Мнози отшедше мира сего возвращаются аки псы на своя блевотины,

---

<sup>14</sup> Непыратый – неказистый, плохой, бедный.

на мирское гонение и обиходят дома и села славных мира сего, яко пси легкосердии. Иди же братцы и пирове, ту чернцы и черницы и беззаконии, отческие имея на себе сан, а блядив норов, святительски имея на себе сан, а обычаем похабь...»

И Володимир, нежась в лучах солнца купальского, веселился кто во что горазд, а отец Упирь казнился в горенке своей превеликой казнию духовной. Нет, пусть там как хотят, а он будет вести свое дело, идти своей стезей!.. И отец Упирь присел к столику у окна, в которое дышал заречный ветерок, и стал с натугой великой, до поту, сочинять свое обличение, которое скажет он невегласам, непутной пастве своей, в будущее воскресенье. Он долго думал, как начать, но, наконец, ухватился, и мысли его понеслись, как табун диких лошадей в степи бескрайной.

«...и в ту святую ночь мало не весь город возмется и взбесится, – налаживал отец Упирь, потея, речь свою. – Встучит город сей и возгремят в нем люди... Стучат бубны, голоса сопели, гудят струны, женам и девам плескание и плясание, хребтом их виляние и ногам их скакание и топтание. Тут мужам и отрокам всякое прельщение и падение, – отец Упирь вспомнил, что делается в эту святую ночь по садам вишневым, и его опалило, – и женам незамужним незаконное осквернение, девам растление... И возвращаясь домой на рассвете от того великого хлопотания, люди падают аки мертвии, а обавники-мужчины и женщины-чаровницы по лугам клязьминским и по болотам, в пути в дубравы ищут смертной травы и привета, чревоотравного зелия на пагубу человечеству и скотам, те же и дивии копают корения на потворение и на безумие мужам и все то творят с приговорами сатанинскими...»

И вдруг рвение его упало: да разве не гремел он об этом в церковке своей прошлым годом? Разве не осуждает церковь хлопотание сие вот уже века? Почитай, четыреста лет уже крестились, идола, а все творят свое!.. Так что же делать? Почему власти духовные не примут мер решительных? Взять хоть гремачий ключ в Ярилином долу – заставил же он, Упирь, придавить духа поганьского святой часовенкой!.. Надо опять сходить к владыке... Да-да, знает он, что надоел пестрым властям настояниями своими, но пусть Господь посмотрит, кто скорее устанет: он ли обличать их, или они, нерадивцы, лениться?

Он решительно встал.

– Эй, мать! – крикнул он своим громовым голосом. – Давай мне иматий<sup>15</sup> новый... Да и гуменце<sup>16</sup> погляди, не заросло ли...

– Куды опять собрался, Аника-воин? – появляясь в двери, спросила матушка, миловидная бабочка с усталыми глазами: уж очень замаял ее поп своим рвением неумным. – Сидел бы лучше дома...

– Ну-ну-ну... – сурово остановил он ее. – Погляди-ка гуменце-то. Как?

– И глядеть нечего: позаросло... Да ты куды опять?

– К владыке дело есть, – отвечал поп. – А ты, коли позаросло, простриги его давай поскорее, чтобы мне дотемна обернуться.

Гуменце, в просторечии поповой плешью именуемое, по обычаю, должна была поддерживать в надлежащем порядке только законная попадья. Матушка принесла все потребное для дела и привычно простригла гуменце. За это самое гуменце и звал народ попов «стриженниками». Затем отец Упирь пятерней своей расчесал маленько свою бороду непролазную и надел иматий посвежее.

– Смотри, поп: сапоги у тебя каши просят... – сказала матушка печально.

– А чего поделаешь? – вздохнул отец Упирь. – На кукишь ничего не купишь, а даром не дают...

---

<sup>15</sup> ИMATий (у священников) – длинный однобортный кафтан без воротника.

<sup>16</sup> Гуменце – выбритое место на макушке, тонзура.

Оглядев себя еще раз с головы до ног, отец Упирь вышел в звенящий песнями по садам вишневым город. Зло покосившись на бесовский камень среди поляны, вокруг которого, готовясь к волшвенной ночи, все более и более шумела молодежь, он повернул узкой немощеной улочкой в гору и сразу же наткнулся на двух девушек, которые, обнявшись, болтали что-то, направляясь, по-видимому, тоже к бесовскому камню. И отца Упия вдруг точно молния с неба опалила: так хороша была эта стройная красавица – ей было, по-видимому, лет семнадцать – с нежно-льняными волосами и голубыми, мягко сияющими глазами! По виду она была из поселей, но для города принарядилась... Она метнула на грозного отца Упия боковой взгляд и что-то шепнула с улыбкой подружке своей. Какая та была, отец Упирь даже не разглядел: так огромила его красавица. И та расхохоталась и воскликнула тихонько:

– Будет тебе, Настенка!.. К чему пристало?..

– Ох, Анка, зря мы туда идем! – проговорила красавица. – Смерть не люблю я с незнакомыми на игрищах играть...

Отец Упирь провожал красавицу изумленным взглядом. У него вдруг пропала всякая охота беседовать с владыкой о греховных радостях Ивановой ночи. Но он взял себя в руки, отплюнулся от искушения и еще решительнее и грознее зашагал пыльной дорогой в гору...

На одном дворе, играя, бегали и кричали ребятишки.

– Тиун нам не судья, – звенели детские голоса. – Нам судья владыка!.. Тиун нам не судья...

## У владыки

Отец Упирь плохое выбрал время для посещения владыки Митрофана: у того происходило совещание епископов и вообще отцов духовных о делах церковных.

– Погоди... – сказал отцу Упирию вратарь, унылый монашек, который всегда что-то унывно скулил про себя. – Может, кончат скоро... посиди вот на крылечке.

Митрофан все раскидывал умом о созыве во Володимире Священного собора – не столько потому, что собор этот был действительно нужен, сколько потому, что это придало бы и Володимиру, и владыке его еще больше блеска. В церкви Русской, правда, было великое во всем несогласие: ово сице держаще, ово инако. Но Митрофан был слишком опытный епископ, чтобы не понимать, что соборами многого не достигнешь: уж очень малограмотны были отцы! Да и из-за власти все сварились так, что не дай Бог...

Сам Митрофан – худощавый старец с благообразной бородой и умно-спокойными глазками за нависшими бровями – славился как человек учению хитрый. Он любил не только читать, но и переписывать те святоотческие книги, которые приходились ему особенно по душе. И вел он себя, не в пример прочим владыкам, смиренно. Володимирцы ценили это особенно: до него во Володимире владыки разводили великую смуту и нестроение. Начал весь этот шум еще Леон, который в 1164 году вдруг бабахнул, чтобы «не есть мяса в господские праздники, в среды и пятки<sup>17</sup>, ни на Рождество Господне, ни на Крещение». И – по словам летописца – «бысть тяжа про то велика пред князем Андреем, предо всеми людьми и упре его, Леона, владыка Феодор. Он же иде на исправление Царю-городу»<sup>18</sup>. И все князья снарядили нарочитые посольства в Византию, чтобы удостовериться в истинном учении. Владыка Леон был бит: оказалось, что мясо в господские праздники вкушать можно безбоязненно...

Но еще чище был владыка Феодор, или, ругательно, Феодорец, – постриженник Печерского монастыря, знатный в миру боярин. Поставлен был Феодорец самим константинопольским патриархом вопреки каноническим правилам, ибо ставить его должен был митрополит Киевский: патриарху и его приближенным было очень хорошо за это заплачено. «Мнози пострадаша от него человецы, – рассказывает летописец, – от держанья его, и сел изнебывши и оружия и конь, друзии же и работы добыта, заточенья и грабления; не токмо простцем, но и мнихом, игуменом и ерем безмилостив сий мучитель, другим человеком головы порезывая и бороды, иным же очи выжигая и язык урезая, а иные распиная на стене и муча немилостивне, хотя исхитити от всех имения, бо бы не сыть, аки ад»<sup>19</sup>. Поссорившись с князем Андреем, он недолго думая приказал затворить во Володимире все церкви, так что не бысть звоненья, ни пенья по всему городу. Наконец он был отослан князем Андреем к недругу его, митрополиту Константину в Киев. Там, по приказанию митрополита, его «осекоша на Песьем острове, и языка урезаша, яко злодею и еретику, и руку правую отсекоша и очи ему выняша, зане хулу измолви на Святую Борородицу». Знаменитый же Кирилл, епископ Туровский, ересь обличил и проклял его...

После него смиренный Митрофан казался володимирцам просто ангелом с небеси. Но жил Митрофан, как и все владыки, весьма богато. Это было нетрудно: все владыки сперва получали от князей десятину, а затем, чтобы не было споров и раздоров при исчислении ее, кня-

---

<sup>17</sup> Пяток – пятница.

<sup>18</sup> Был большой спор о том перед князем Андреем, перед всеми людьми, и возражал ему, Леону, владыка Федор. Он же отпавился за разъяснением в Царьград (*др.-русск.*).

<sup>19</sup> Многие пострадали от него люди, от власти его и сел лишившись, и оружия, и коней, другие же оказались в рабстве, заточении, ограблены были; не только к простым, но и монахам, игуменам и иереям безжалостен был сей мучитель, одним людям отсекал головы и бороды, иным же глаза выжигал и язык отрезал, а других распинал на стене и истязал немилосердно, хотел отобрать у всех имущество, потому что ненасытен был, как аспид (*др.-русск.*).

зья стали выкупать ее у епископов за определенную цену, чохом. Во-вторых, их худость – так смиренно величали себя отцы, – «владела многими селами лепшими и слободами богатыми с изгой и с землею, и с сеножатыми, и с бортником». Всем этим заваливали их князья и бояре на помин души. Но и этих богатств им не хватало, и придумали они брать со стада своего словесного – или бессловесного, как угодно, – за «венечные знамена», то есть за благословение браков, с мужчины по золотому, а с женщины – по 12 локтей полотна. С попов взимали они соборную куницу, пошлину от грамот переходящих, епитрахильных, оранных и прочих. Брали они пошлину за позволение хоронить скоропостижно умерших, с женщин, родивших от блуда, брали за антимины, брали за посвящение во иереи... И так собирали они себе богатства великие, и потому охотников «скачить на стол» владычий было всегда больше, чем следует. Они чрезвычайно величались своей властью и богатствами и презрительно называли греческих митрополитов микрополигами, хвалясь, что на святой Руси у каждого епископа под властью целая страна. Они содержали для своей охоты стаи псов: епископ Новгородский Феодор был уяден своим собственным псом. Была у них и соколиная потеха. «Аще епископ носит ястреб на руке, – обличали их чудаки, – а не молитовник, да извержется»<sup>20</sup>. Но они все же охотнее брались за ястреба, чем за молитовник<sup>21</sup>. Слуги их многочисленны были, «лакомые скотины», и где видели власть своего владыки, там с великой гордостью и бесстыдием на похищение устремлялись. С величайшим усердием принимали отцы участие в веселии: князь белгородский Борис пьянствовал преимущественно с попами, а князь галицкий Володимир Ярославич отнял у попа жену и женился на ней: так пленила она его на пирах его княжеских!.. «Видемох мниха, в добрых ризах ходяща и в красная одеяна, – говорит Феодор Студит, – и без насыщения ядуща, и в измечтанных сапозех и оубрусцах испещренных, при поясе имуща добротворены и златокованы ножи и сим подобная, паче же ездящих на конях и месках упитанных и доброхотных и многоценных, и та вся благоутворена и с уздами измечтанными»<sup>22</sup>. Правда, из среды самих же отцов духовных поднимались иногда и такие голоса: «Вотчины и волостей с христианы не подобает в монастыри давати и приимати: то есть царское к инокам немилосердие и душевредительство и бесконечная гибель», но – владыки таких чудаков не слушали и предпочитали душевредство и гибель...

Во время недавнего страшного пожара – все пожары русских городов того времени и не могли не быть страшными: все было деревянное, – палаты владыки Митрофана погорели, и он временно, до построения новых, жил в Рождественском монастыре. В раскрытые окна его покоев, в которых собрались отцы, радостно сиял купальский вечер, и из садов вишневых доносились песни и щебетание ласточек, носившихся над монастырем. Отцы, поникнув главами, казались чуждыми всему этому и слушали епископа Леонтия, когда-то красивого, а теперь иссохшего до костей, за которым установилась уже слава великого постника и молитвенника.

– Кормчая... – говорил он глухим, точно из могилы, голосом, и страшные глаза его гневно сверкали. – Что же может Кормчая? Для эллинов она, может, и Кормчая, а для нас правила ее помрачены облаком премудрости эллинского языка. Надо преложить ее с грек на письмо словенское... Только тогда благодатью Божией она осияет, неведения тому отгоняюще, все просвещающе светом разумным и от греха избавляюще...

А не пеленай во пелену червчатую, —

ворвалась вдруг с улицы через ограду высокую задушевная песня какого-то гуляки, —

<sup>20</sup> Молитовник – молитвенник.

<sup>21</sup> Если епископ носит ястреба на руке, а не молитвенник держит, то лишить его сана (*др.-русс.*).

<sup>22</sup> Видел монаха, в хороших ризах и нарядном одеянии ходящего, и вкушающего пищу не ради насыщения и в нарядных сапогах, и в покровах украшенный, на поясе носят оружие в добротных ножнах и палицу, и к тому же ездят на конях упитанных и послушных и дорогих и те все ухоженные и с нарядными уздечками (*др.-русс.*).

А не пояси в поясья шелковые, —  
Пеленай меня, матушка,  
В крепки латы булатные,  
А на буйну голову клади злат шелом,  
Во праву руку палицу,  
А и тяжку палицу свинцовую...

Слушая песню тоскливую, отцы на мгновение примолкли. А когда замер в отдалении, у Золотых ворот, молодой голос, епископ Леонтий продолжал своим могильным голосом утверждать необходимость впредь, до перевода Кормчей, издания хотя бы главных правил как для отцов духовных, так и для паствы. И в огромных глазах его была почему-то скорбь великая...

В молодости был он дружинником у великого князя полоцкого и в одном мелком столкновении с ляхами попал к ним в плен. Там в него жарко влюбилась одна красавица полька и приступила к нему «с предложениями». Он, девственник, никак не соглашался на грех. Красавица выкупила его за тысячу гривен серебра, облекла его в драгоценные одежды, сладкие брашна предлагали ему слуги ее в снедь, и лести женской не было конца. Но он был непоколебим. Женщина предалась ярости: от лести перешла к казням, велела морить его голодом и жаждой. Все окружающие уговаривали его от Писания: и Авраам был женат, и Исаак, и Иаков. Иосиф, отказавшись от жены Потифара, все же женился и получил царство. Он был глух и нем и, скрывшись как-то на время из хором ее блистательных, принял от одного священника монашеский образ. Княгиня в гневе велела растянуть его по земле и бить палками. Земля обогрилась кровью, но мученик был непоколебим. Тогда красавица велела положить его к себе на ложе, истощала все ласки, сжимая его в объятиях своих, но он оставался как мертвый. Тогда в бешенстве велела она изувечить его, лишив его мужского образа. Он претерпел и это, и хвалил, и славил Господа. В наказание Господь поднял среди ляхов мятеж, во время которого было избито много епископов-латынян, бояр, погибла и сама княгиня. Леонтий же, оправившись от ран, отошел в Печерский монастырь, и Господь даровал ему власть над страстями. Рассказывали на ушко, что один брат просил его помощи в искушениях плотских; Леонтий ударил будто его своим посохом – по причине ран он не мог ходить без посоха, – и внезапно омертвели у брата члены. Дьявола таким образом Леонтий победил, но сам от победы изнемог, и потому в грозно-прекрасных глазах старца была всегда скорбь...

– Прежде всего надо бы на все плату установить правильную и для всех одинаковую... – сказал Лаврентий Муромский. – А то ропот идет между мирянами да и между священством. Нельзя, чтобы во всяком городе свой обычай был...

Лаврентий славился образованностью не меньше, пожалуй, Митрофана; «никто не мог стязаться с ним книгами Ветхаго Завета, весь бо из уст имеша: Бытие, Исход, Левит, Числа, Судии, Царства и вся пророчества по чину и все книги жидовские сведяще добре». Но у него была слабость: любил он пышность, даже до излиха, и в числе еще немногих иереев начал слегка отпускать власы своя. Против растящих власы и красящихся ими иереев тогда восставали многие, основательно ссылаясь на Писание: «Власы главы твоя не питай, рече, не прерастай паче же но устригай их и очищай да не часто чешашутися и власы долги главныя соблюдающе и всегда вонями мажашутися не наведеша на ся таковыми улавляемыя или паче улавляюща жены». Но время потихоньку брало свое, и все больше и больше появлялось иереев, красующихся кудрями своими...

– Император византийский Исаак Комнин предписал: за постановление в чтецы брать имперпирон... – сердито сказал епископ Кирилл Ростовский, который был «зело богат кунами

и селы, и всем товаром, и книгами, и просто реши так богат бе всем, яко ни един епископ в Суздальской области».

– Какой имперпирон? – поднял на него налитые дремой глаза ветхий денми<sup>23</sup> Евграф.

– Имперпирон – это у них монета золотая, по цене вроде нашей гривны... – все сердясь неизвестно на что и брызгая слюнами, пояснил Кирилл. – За постановление в диаконы там берут еще три имперпирона, в священники еще три имперпирона – так что всего за постановление во иерея у них берется семь имперпионов. А у нас и того хуже: плата за посвящение, плата за постановление, с игумена посошное при вручении посоха, плата за постановление в проскурницы – всего и не вспомнишь! Мне сказывали, что в Чернигове отцы придумали отлучать богатеньких от церкви, а затем стали взимать с них мзду за разрешение отлучения...

Между отцами пробежал невольный смешок. Только ветхий Евграф остался равнодушен: опираясь прозрачными руками на кокобочку своей клюки, он спал.

Жизнь Евграфа была не менее пестра, чем жизнь Леонтия. В молодости был он богатый человек. Но рано познав тщету богатства, бросил все и пришел в Киевскую лавру, прося его простити. Вскоре на Киев напали половцы и полонили его со многими монастырскими людьми. Потом они продали полон свой херсонскому жиду.

Жид стал требовать, чтобы они все оставили веру Христову, но Евграф наставлял своих товарищей крепиться. Они послушались его и все перемерли с голода и тем причинили жиду немалый убыток. Жид, почитая Евграфа виновником своих убытков, воспылал гневом и при наступлении праздника Святой Пасхи Христовой велел пригвоздить его ко кресту. Евграф, как говорили, висел на кресте целых пятнадцать дней. Жиды приступили к нему, требуя, чтобы он вкусил от их пищи, но он неумолимо славил Господа и произносил проклятия убийцам Его. Жидовин, услышав сие, взял копье и пронзил его. Его сняли с креста и бросили на съедение псам, а он, изволением Господним, ожил и ушел на Русь. На жидов же последовало там великое гонение, и первым же Господь покарал мучителя Евграфова...

Обсуждение настроения церковного продолжалось. По садам вишневым звенели в отдавлении песни. Нарядно золотилась в лучах закатных земля. Отцы в суждениях своих несколько путались: не привычны еще были они справляться с большими задачами. Они перескакивали с одного вопроса на другой, загромождали дело всякими подробностями ненужными, и все чувствовали, что словно они по болоту ходят: вот-вот провалятся!.. То обсуждали они, как надо ставить иереев и диаконов: епископы должны разузнавать жизнь поставляемого через соседей – сохранил ли он девство, женат ли законным образом на девице, сохранившей девство, знает ли хорошо грамоту, не кощунник ли, не хищник ли, не клятвопреступник ли, не сварлив ли, не грешил ли содомским блудом или со скотиной, не виновен ли в татьбе, не сотворил ли блуда со многими, не был ли лжесвидетелем, не совершил ли убийства вольного или невольного, не ростовщик ли, не морит ли своей челяди голодом и наготой, не чародец ли, не бегаёт ли дани?..

– Всего не узнаешь... – внес кто-то поправку. – Надо обязательно еще и поручительство семи священников и других добрых свидетелей...

– Ну, поручители... – зевнув, зло сказал Кирилл. – Напой его медом, так он тебе за Иуду-предателя поручится... А вот, отцы и братия, надо нам поднять голос против погрешностей в чине проскомидии... Сколько раз мы про это толковали, а дело не подвигается: дьяконишки все не в свое дело лезут. Надо объявить, что отселе не повелеваем-де дьяконам изымать агнца, но священникам. А ежели миряне по сему поводу смуту чинить начнут, то да будут прокляты...

– Погрешностей немало и в других таинствах... – поглаживая бороду, сказал Митрофан. – Крестить обливательно нигде не указано, но погружательно. И причащение святых тайн необходимо: без причащения да не крутят никого же ни в городе, ни в деревне...

---

<sup>23</sup> Великий денми (др.-русс.) – «великий днями», то есть старый.

– И нужно за пономарями поглядывать... – послышался из пепельных сумерек голос. – Дабы святой Божий алтарь не был входен для всех без разбора. Да и священник и дьякон да не входят в алтарь с небрежением, дабы бесчинным восхождением не досаждают пречистому месту... И чтобы съестного и питного тоже в алтарь не вносили...

Послышался тяжелый вздох.

– А больше всего насчет пианства подумать надо... – сказал сонным басом Евграф. – Иереи часто упиваются без меры. Если не покаются, то надо всех изврещи, ибо лучше один достойно служащий, чем тысяча беззаконных, а ежели миряне будут стоять за таких попов, то да будут подвергнуты проклятию...

– Ох, не знаешь уж, с какого краю и браться: то ли за пастырей, то ли за пасомых?.. Подумай, что сегодня в ночь по городу пойдет!.. Да и только ли сей день? Слышал я, что в субботу под Святое воскресенье собираются мужчины и бабы, и пляшут бесстыдно, и скверну деют, визжа и ржа, как кони... Таких тоже надо бы проклятию предавать...

Но уже смерклося. Отцы позевывали. Всем хотелось на покой: все одно всего не переговоришь... И Митрофан, выбрав удобную минутку, встал. За ним устало поднялись и остальные. Провожая гостей, владыка увидал на крыльчке в сиреневых сумерках могучую фигуру Упия. Митрофан поморщился: благой<sup>24</sup> попик надоел ему своим рвением чрезвычайно.

– Ну, что там у тебя опять? – благословив его, устало спросил он.

– Да все насчет этой самой ночи поганьской... – отвечал тот. – Неужели так и оставить их творить беззаконие, владыко?

– А что же тебе, воев, что ли, от князя дать на подмогу?

– А хоть бы и воев...

– Так они уйдут на Студеную гору или в Ярилин дол, и опять то же будет... Ты словом, словом пронять норови! Какой же ты пастырь духовный, ежели ты на слово Божие не надеешься, малOVER?

Но владыка чувствовал себя слишком усталым бесплодным сидением с отцами, чтобы еще учительствовать.

– Постой, я книжицу одну тебе в назидание принесу, – сказал он. – Тебе самому, вижу, укрепиться еще нужно... Погоди.

Он скрылся в покоях. В опочивальне его вдоль стен были навалены всякие книги: он любил собирать по книгам ум и мед душевный и радовался, что ему удалось спасти во время пожара свои сокровища духовные. Он при скудном свете сальной свечи стал рыться в своих завалах и, как всегда, испытывал чувство восторга. Господи, батюшка, и чего-чего тут только не было!.. Вот изборник Святославов, в котором ему так нравилась выписка из «Угустина от уставных» о тайнах Святой Троицы, которая начиналась так: «Смотрим, кая е огненная сила...» Вот «Похвала о четверодневном Лазаре»: «Лазарь, пришедши и свыкупи сбор и хочет своего ожития...» Вот четыре слова Афанасия Александрийского против безбожных ариан: «От существа ли света сего ангели, ли от коея вещи...» Вот Василия Великого «от того, еже на Еуномии, о святом Дусе...». Вот Стословец Геннадия, патриарха Константинопольского, содержащий в себе все правила христианского доброповедения. Вот «Временник впросте», начатый Георгием Амарголом и продолженный Симеоном Логофетом, вот Григория Двоеслова о бессмертии души, Диоптра, или Зерцало, о том, как беседует душа с телом, причем не душа тело, а тело душу поучает, вот Ефрема Сирина творение «скажет же ся греческим языком Паренезис, еже есть послушание и утешение и умиление». Вот опять сборник слов Златоуста «Златоструй», вот сборник «Златыя Чепи», вот догматическое богословие Дамаскина, вот творения Иоанна, экзарха Болгарского: во-первых, слово от сказания евангельского: «Отидоста паки к себе ученика дивящася, Мария же стояще вне гроба плачушися, жалостливо

<sup>24</sup> «Благой» и теперь в Суздальском крае значит – буйный, опасный.

бо есть женское племя...», а во-вторых, его же «Състав», в котором он о причащении глаголет тако: «К святому Макарию отцу некий человек приведе жену свою в образе лошади...» Вот опять многие слова Златоуста «о Адаме и Еве, о книгах, о сластях, о теле человеци, о свете праведных»... А вот и «Лествица», которую он попу Упирю дать хотел...

Он отложил рукописание на столец и, не в силах оторваться от своих сокровищ, продолжал со сладостью перебирать их: вот Хронограф Иоанна Малады от Сотворения мира до Юстиниана, вот Кормчая на греческом языке, вот слово на еретики, препреие Косьмы, пресвитера Болгарского, вот три творения Мефодия Патарского: «О воскресении в трех словах», «О различении яди и о юницы менимей в левитице» и «О пиавици суший в притчах». Вот увесистые Минеи-четии и Минеи-петии и «Написание о правой вере» Михаила Синкела... Господи, Господи, сколько потрудились люди во славу Твою! Вот Палеи, пространная и краткая, вот Патерик, сиречь Отечник, вот «Пролог, яже есть у греков именуем Синаксай». Вот отдельная выписка из изборника Святославова: «Собор от мног отец толкование о неразумных словесах в еуангелии и в апостоле и в инех книгах, вкратце сложено на память и на готов ответ». Вот «Афродитиана, сказание о бывшем в Персестий земли чудеси»... А вот и связка с книгами богоотметными, теми «болгарскими баснями», чтение которых было запрещено соборными постановлениями: тут и сказание о Соломоне, и «Хождение Богородицы по мукам», и «Видение апостола Павла», и «Вопросы Иоанна Богослова Господу Богу на горе Фаворской»: «Видех книги лежаща, яко мню ровно с гор толщина их, долгота же их ум человек не может разумети...» Держать их у себя было опасно, а бросить жалко...

Владыка задумался было, но вспомнил об отце Упире и, взяв в рассеянии вместо «Лествицы» какое-то другое рукописание, он снова вышел к понурившемуся на лестнице попу.

– На-ко вот, почитай... – сказал он. – Да ты смотри у меня, береги книгу как зеницу ока. Не рви, да чтобы и от перстов следов не было: не слюнявь их, как перелистываешь, а сухими листы перебирай...

В те рукописные времена книги в самом деле стоили очень дорого, и потому наставление владыки было более нежели уместно. Достаточно сказать, что писец в те годы мог переписать только две такие книги, как Евангелие. А для того чтобы переписать всю библиотеку Митрофана, нужны были десятки писцов на долгие годы.

– Покорно благодарю, владыка... – довольный, поклонился в пояс Упирь. – Будь спокоен: сберегу, в полной сохранности тебе сдам.

– Ну, иди уж, иди... – зевая, сказал владыка. – Да не наускаивай так на власть предержавших. Тебе бы все всех учить охота, даже тех, кто повыше тебя... Гряди с миром...

Упирь, бережно завернув рукописание в плат, бодро зашагал к дому. Володимирцы уже ужинали, и потому на улицах было тихо. И вдруг в звездной тишине ярко и маняще выплыл снова образ красавицы неведомой, и сердце Упия залилось вдруг тоской. Он накрепко жалел попадью свою милую, но... попадья – попадья, а и эта... ах, и гожа же девка!.. Ах, гожа!..

## Купальская ночь

Гневно озираясь в звездную, теплую мглу, Упирь быстро шагнул к себе. Он знал, что еще немного и начнется. И даже уже началось: когда подошел он к своей хибарке и глянул за реку, там местами по лесам, у воды, полыхали уже огни купальские. Он подавил вздох, вошел в избу, молча переоделся, и попадья подала ужин. Она взялась было спрашивать его, как и что сказал ему владыка, но отец Упирь был рассеян и отвечал невпопад. И она бросила разговоры: она знала, что раз поп задумался, то лучше его оставить, а то иной раз такое сплетет, что только ох да батюшки...

Поп знал, что спать сегодня ему не дадут – не столько шум их поганьский, сколько его злоба на них. И потому, поужинав, он наладил светец, принес лучины побольше и достал из бездонного кармана иматия рукописание владыки, бережно завернутое в плат... И все прислушивался одним ухом: беснование потихоньку уже начиналось...

И он взялся за книгу.

«Не лепо ли ны бяшет, братие, начати старыми словесы трудных повестей о полку Игореве, Игоря Святославлича!.. – прочел Упирь и высоко поднял брови: что-то как будто не очень божественно начинается. – Начати же с той песни по былинам сего времени, а не по замыслению Бояню...»

Что такое?! Он поглядел на заглавный лист. Там стояло: «Слово о полку Игореве»... Любопытно!

И медлительно – грамоте отец Упирь был горазд, но не больно – он продолжал:

«...Боян бо вещий, аще кому хотяще песнь творити, то растекашется мысию по древу, серым волком по земли, шизым орлом под облакы, помняшет бо речь первых времен усобице; тогда пушашет десять соколов на стадо лебедей, который дотечяше, та преди песнь пояше: старому Ярославу, храброму Мстиславу, иже зареза Редедю пред полки касожскими, красному Роману Святославличу. Боян же, братие, не десять соколов на стадо лебедей пушаше, но свои вещие персты на живые струны вскладаше; они же сами князем славу рокотаху...»<sup>25</sup>

По всему огромному телу Упирия прошел мороз восторга. «Они же сами князем славу рокотаху!.. – повторил он. – Славу ро-ко-та-ху...» Эка как отлил!

В открытое оконце дышала теплая ночь, вокруг камня бесовского уже слышались крики и смех, и песня шла, и метался бешеный хоровод, луной осиянный, но Упирь не слышал ничего: меняя, не глядя, лучину, он, точно на крыльях каких лазоревых, понесся в дали заколдованные.

«А всядем, братие, на свои борзые комони, позрим синего Дону... – читал он с восторгом. – Хочу бо копие преломити конец поля Половецкого, с вами, русичи, хочу главу свою сложити, либо испити шеломом Дону!»<sup>26</sup>

Опять мороз прошел по душе и телу Упирия... И вот верхом на комони борзом отец Упирь в блещущей кольчуге, в шеломе пернатом вступает ногой своей могучей в золоченое стремя и несется вихрем к зеленым берегам синего Дона и метет пред собою расстроенные полки половецкие... Солнце тьмою ему путь застилает. Ночь, стенающая грозой, будит птиц, звери ревут, див кличет сверху древа и велит слушать земле неизвестной, Волге, и Поморью, и Посулью, и Сурою, и Корсуню, и тебе, тмутараканский болван!.. Волки воют по оврагам, орлы клекотом

---

<sup>25</sup> Ведь Боян вещий, если для кого хотел песню петь, то растекался белкой по древу, серым волком – по земле, шизым орлом – под облаками, поскольку помнил рассказы об усобицах первых времен. Тогда пускал десять соколов на стаю лебедей, и которую (лебедь) поймают, та первая хвалу поет: старому Ярославу храброму Мстиславу, который заколол Редедю перед полками касожскими, статному Роману Святославичу. Боян же, братия, не десять соколов на стаю лебедей пускал, но свои вещие персты на живые струны клал, и струны сами князьям славу пели (*др.-русск.*).

<sup>26</sup> Сядем-ка, братия, на своих быстрых коней, посмотрим на синий Дон. Потому что хочу преломить копье на краю поля Половецкого, с вами, русичи, хочу голову сложить или выпить из шлема речной воды Дона (*др.-русск.*).

на кости зверей зовут, лисицы брешут на червлёные щиты. Черные тучи идут с моря грозного. В них трепещут синие молнии... Страхование великое, раны, может быть, смерть – так что же? Ужель не любо сложить буйную голову за землю Русскую, изронить душу жемчужную чрез золотое ожерелье в поле незнаемо? Умирать все одно надо – так уж лучше пусть потом воспоют внуки ему, Упирию, славу под рокот струн яровчатых!..

И текут медлительно звездные часы, а Упирь, все забыв, бьется с половцами в степи бескрайной, и разит направо и налево мечом своим харалужным, и идет с князем Игорем вместе в тяжкий плен к поганым. Пусть вокруг все ярче, все жарче полыхают песни купальские – Упирь тоскует в тяжком плену и смотрит за грани степи, на Русь, и по лицу его текут слезы горючие... Но – его сотрясло – вдруг пали цепи проклятые полона позорного, на крылатых конях летят они с князем в землю Русскую, и гремят им навстречу со всех сторон песни радостные, песни победные: «солнце светит на небесе, Игорь, князь на Русской Земле...», а Упирь, сдерживаясь из всех сил, чтобы попадья его не слышала, рыдает над рукописанием волшебным и слезы теряются в лохматой бороде его...

«Ах, мать честная, курица лесная! – восторженно прошептал он. – Вот диво дивное и чудо чудное...» И, облокотившись буйной головой своей на тяжкую длань, Упирь, восторженно улыбаясь, глядел в сумрак своей жалкой хибарки. За тонкой перегородкой слышалось тихое дыхание попадья его милой, а за окном в лунном серебряном сиянии кружился вокруг бесовского камня хоровод черный, и так ладно, так складно плыла песня старинная, песня нарядная, которую певал, бывало, и Упирь, когда он еще благодати не сподобился.

Ах, и по морю, морю синему,  
Плыла лебедь с лебедятами,  
Со малыми со дитятами.  
Плывши лебедь встрепенулася,  
Плывши лебедь вышла на берег,  
Где ни взялся млад ясен сокол,  
Он ушиб, убил лебедь белую,  
Он пух пустил по поднебесью,  
Сорил перья по чисту полю.  
Где ни взялась красна девица душа,  
Брама перья лебединые  
Клала в шапку соболиную,  
Милу дружку на подушечку,  
Родну батюшке на перинушку...

Упирь пил нарядные звуки ночи, и мнилось ему, что есть в них что-то от рукописания владычного. И досадливо тряхнул он головой:

– Не по правилам поют, неведгласы!.. Эту песню на Красной горке петь полагается, а они под Купалье ее завели. И опять зачин не так делают: начинать запев надо исподволь, из самой глуби душевной, так, чтобы сердце все затрепыхалось, как на заводи тихой лебедь белая, а они рубят... Эх, испортился народ вдребезги, ничего не понимает!..

А за окошками все кружилась, все к сердцу ластилась, все в сердце просилась песня старая, песня ладная:

Где ни взялся добрый молодец:  
Бог на помочь, красна девица душа!  
Она ж ему не поклонится.  
Грозил парень красной девице:

Добро, девка, девка красная!..  
Зашлю свата за себя возьму,  
Будет время и поклонисься мне,  
Будешь, девка, белы руки целовать,  
Плеть шелкову во руках твоих держать.  
Я думала, что не ты идешь,  
Я думала, не мне кланяешься,  
Я думала, что идет поповский сын,  
Что поповский сын, поп Алешенька...

Отец Упирь упивался. Лучина ярко вспыхивала, и из сумрака переднего угла вдруг строго глянул на Упия Христос большеокий. В одной пречистой руке своей Он, батюшка, держал Евангелие святое, а другой вроде как грозил попу Своему непутевому: ишь, заслушался песен-то поганьских!.. Упирь вдруг спохватился: в сам деле, что это вдруг с ним сделалось? Уж не наваждение ли бесовское?.. Неужели пошло это от рукописания владычного? Как мог владыка дать ему такую книгу? Как мог он даже держать ее у себя? Не говорится ли в ней о богах поганьских? Как же будет он обличать в воскресенье все это хлопотание бесовское – ишь, что разделявают!.. – когда сам владыка держит у себя книги поганьские, может быть, даже рядом со Священным Писанием, перед ликом Христовым?.. Ах, негоже, ах, негоже!..

Уже давно по дворам кочеты пропели – как всегда, красный кочет проскурницы пел поперед всех... – затихли понемногу вокруг камня бесовского невегласы бешеные и разбрелись, знать, как всегда, парами по садам вишневым, по лугам росистым, к реке, за которой небо словно белеть уже начинало, а отец Упирь, взволнованный, все думал путаные думы свои и не находил из них никакого выхода. Христос все грозил ему перстом своим пречистым, точно настаивая на чем-то. И Упирь вдруг понял: сбился он, поп окаянный, с книжкой этой с пути истинного, и Христос призывал его снова на путь ревнителя веры святоотческой...

– Да что ты, поп?.. – раздался из-за перегородки тесовой сонный голос попадьи его милой. – Али до солнца сидеть будешь?..

– А ты спи знай, спи... – отозвался он. – Скоро приду.

Нет, не поддастся он, Упирь, искушению дьявольскому! Как боролся он до сей поры с поганьством, так будет бороться и впредь. И в первую голову рукописание это окаянное уничтожить надо, душу мутящее, мечту творящее. Лучше всего сжечь бы его. Да попадью еще встревожишь, приставать начнет, что да почему, разговоры эти бабьи пойдут... Лучше всего в Клязьму бросить. А там владыка пушай как хочет, так и судит, – ты хоть развладыка будь, а попа смущать не моги никак... И посмотреть на невегласов, кстати, надо: что они там еще разделявают?..

Забрав книгу, отец Упирь тихонько отворил дверь и вышел в тихую, теплую ночь. И только отворил он калитку щелястую, как сразу увидел какую-то парочку, которая, крепко обнявшись, уходила в теплой мгле к реке. И почудилось Упирию, что ровно Настенка это, которая давеча так сразу опалила его. А из тьмы предрассветной звук поцелуя точно послышался и смех девичий, сладкой отраве подобный...

И вдруг снова подхватил Упия вихрь какой-то горячий, и закрутил, и понес. И опять увидел себя Упирь в степи бескрайной на коне борзом, в шеломе златоблещущем, и из трав высоких лают лисицы на червлёный щит его, и блещет вдали синий Дон, и в блистании мечном, в треске копий и скепании<sup>27</sup> щитов метет он, витязь славный, пред собою силу степную, дикую. И вот врываются храбры земли Русской в вежи половецкие, и первое, что видит там он, Упирь, – это Настенка, которая вся узами связана. Одним движением меча он рассекает узы

---

<sup>27</sup> Скепать – колоть, раскалывать.

ее, и она бросается ему на шею. Он берет ее за руки белые, сажает на седло свое златокованое, и, как вихрь степной, несутся они травами росными на далекую Русь, и она, обняв его шею накрепко, шепчет в уши ему речи сладкие.

Он оглянулся и вздрогнул: он притулился к камню бесовскому, мечту творящему, а в руках держал рукописание поганьское... За Клязьмой уже светало и было слышно, как смеясь, бросали в парящую воду девушки венки свои, гадая о суженом...

– Тьфу! – плюнул Упирь, отпрянув от камня и боязливо оглядываясь: не увидал бы кто, часом! – Ну, чистое вот наваждение!

Но горько было Упирию расставаться с наваждением бесовским: Господи батюшка мило-сливый, да неужели ж только одну свою поденку серую знать?! Ведь засохнешь!.. Отчего же человеку и не порадоваться? Вон попадья заметила, что сапоги его каши просят, – пущай просят, а он вот в шлеме золотом на синий Дон поедет!.. Какое кому зло от этого?.. И отец Упирь, прижимая под мышкой рукописание владычное, решительными шагами направился к дому. Такой книге цены нету, а не то что... А владыке скажет, что украли. Ну, пущай епитимью какую положит... Да и гоже ли ему, старику, такую книгу у себя хоронить?.. На нем сан-то какой!..

Он тихонько отворил калиточку и наткнулся на сонную матушку: она вышла на мост<sup>28</sup> умываться.

– Где это ты все колобродишь, поп? – подозрительно оглядывая его, хмуро спросила она.

– Известно где... – сердито отвечал отец Упирь. – Ты помнишь, какая сегодня ночь-то была, или заспала?.. Ежели их не стращать, невегласов, так они такого наделают, и не выговоришь... Ежели я поставлен пастырем духовным, так должен я за всем глядеть...

Попадья знала рвение своего попа к вере и потому поверила ему сразу.

– Поди-ка дров принеси... – сказала она, умываясь свежей водой из глиняного ручной-ника. – Вон проскурница<sup>29</sup> наша уж затопила...

---

<sup>28</sup> Мост (*устар.*) – сени.

<sup>29</sup> Проскурница – просвирица, то есть женщина, выпекающая просвиры.

## КНЯЖЬЕ

В начале XIII века молодая Русь кипела кровавыми смутами. Пользуясь этими смутами, с Украины ее щипали немцы, литовцы, ляхи, венгры, шведы, половцы, а внутри – и в значительно большей степени – терзало ее княжье, неимоверно расплодившиеся потомки князя Володимира Киевского. Это было неудивительно: княжье женилось очень часто в семнадцать лет, а то и в четырнадцать, и даже в десять. Были среди этих потомков и князья-хозяева, князья-заботники, как Ярослав I, Мономах, Ярослав Осмомысл, Роман Галицкий и прочие, были князья витязи, как Мстислав Храбрый, Мстислав Удалой, Данила Романович, Игорь Северский и прочие, но большинство было не князья, а княжье, тупое, жадное, беспокойное. Слова «Русская земля» были у них на устах постоянно – «блюдем Русские земли» – но это было только красноречие; на самом же деле они рвали Русскую землю без всякой пощады и заливали ее кровью. Немцы в ту пору добывали Славянское Поморье, ляхи и угры упорно лезли в Галичину, но княжью и горюшка было мало. Расплодилось их до того, что часто в одном городе сидело по два князя. Жалобы их на свое житье-бытье горемычное были чрезвычайно красноречивы: «Не могу я умирать с голоду в Выри...» – плачет один. «Что мне делать хотя бы и с семью городами, где живут одни псарь?» – жалуется другой. На Русь они смотрели как на свое добро, на свое большое имение и, плодясь, все больше и больше дробили ее и дрались из-за наследства. И жгли волости, и рубили чад противника, и выкалывали один другому глаза. Володимерко иссек многих жителей Галича за сношения с его племянником. Ярослав Всеволодович, разбитый новгородцами под предводительством Мстислава Удалого, прибежав в свой Переяславль, велел всех новгородских гостей побросать в погреб и так «издушил» их человек с полтора. Рязанский Глеб на пиру вероломно умертвил шестерых братьев своих с их боярами и слугами. Северские Игоревичи, призванные княжить в Галиче, избили галицких бояр – они отличались исключительной склонностью к баламутству, – но вскоре, захваченные боярами врасплох, были повешены ими. И так шло по лицу всей земли Русской.

Наследовал князю не сын его, а старший после него брат, то есть старший в роде. Никогда почти князь не мог надеяться, чтобы княжество после него досталось его детям. Они часто оставались не только без княжества, но даже без пристанища вообще, и судьба их зависела целиком от старших в роде. Князья по мере освобождения мест переходили из города в город. За ними следовали их «милостники» – любимцы – и дружина. Иногда уходили за князем даже простые вои, жители городков. Так, в начале XII века три города ушли таким образом, но были пойманы и возвращены на свое место. Если прибавить к этому, что также с худшего на лучший стол стремились и святители, и попы из плохого прихода в хороший, то Русь представляется каким-то кочевым племенем, которое никак не найдет себе покоя. Рубежи княжеств от частых переделов то и дело менялись.

Для обозначения отношения младших князей к старшим употреблялись выражения: младший «ездил при стремени» старшего, имел его господином, был во всей его воле, смотрел на него. Но все это было болтовней: младшие слушались старшего до тех пор только, пока он мирволил им, а то так сейчас же хватались за оружие. «Ты нам старший, – говорили они, – но если ты нас обижаешь, не даешь волостей, то мы сами добудем их себе». Изяслав говорил дяде своему Вячеславу: «Прими меня в любовь, а то волость твою пожгу». Возвышенные речения – в этом сказывалось неглубокое влияние батюшек – были среди князья вообще в большом ходу, но наивен будет тот, кто примет их за чистую монету, как и у батюшек. Отец, умирая, говорил своим сыновьям: «Ты, старший брат, будь меньшим вместо меня отцом, а вы, меньшие, почитайте старшего, как отца», но не успевал он закрыть глаза, как начиналась свара, или, тогдашнему, размирье, нелюбие.

Но, несмотря на все эти родственные драки, при которых князь несколько не стеснялось водить на Русь на помощь себе ляхов, немцев, литву, половцев, словом, кого придется, несмотря на противление веча, с которым они справиться еще не могли, князь пускало корни все глубже и глубже и эдак легонько отгораживалось от простых смертных и обстановкой всего своего обихода, и даже именами; христианские имена, которые давались им при крещении, сохранялись ими как бы про запас для царства небесного, а звались они старыми, языческими именами: «родился у Святослава Ольговича сын, и нарекоша ему имя в святом крещении Георгий, а мирски Игорь». Или: «дочь Ефросенья, прозванием Измарагд, еже наречется дорогой камень». И замечательно, что в простом народе этих старых, языческих имен совсем не было – точно запрещено это было. И настолько уже окрепло к XIII веку Князь, что им можно уже было льстить в таких выражениях: «Княже мой, господине, орел – царь над птицами, осетр над рыбами, лев над зверями, а ты, княже, над переславцы...»

Орел, осетр и лев, княживший тогда над володимерцами, великий князь Георгий Всеволодович принадлежал по характеру своему не к князьям, а к князью. Он не сеял, не жал, но усердно собирал в житницы свои. Когда лет семь тому назад из Заволжья прилетел слух, что там, по Яику, снова появились страшные татары, князь Георгий и не почесался: не полезут они из привычной им степи в Залесье, а те, которые к степи поближе, пушай сами и управляют. Конечно, как и на Калку, помощь в случае чего послать надо будет, но больно тревожиться не из чего. Прав был князь Андрей Боголюбский, царство ему небесное, что, бросив Киев, от степи ушел подальше...

И действительно, татары спокойно кочевали по яицким степям, и вреда от них никакого не было видно. Но тем не менее стали появляться знамения всякие, и Русь стала наполняться темной тревогой. В 1230 году в Новгороде рано поутру солнце явилось «о трех углах, яко коврига, потом мней (менее) бысть аки звезда, тако и погибе, потом мало опять взиде в своем чину». Через четыре дня, в торгов год (в час торга), солнце начало умаляться «зрящим всем людям», и осталось его мало, и сделалось аки месяц три дня, потом опять начало полниться, и многие думали, что месяц идуще чрез небо, потому что тогда было межимесячье, а другие думали, что солнце идет назад оттого, что малые облака кучею борзо бежали на солнце. В Киеве было и того хуже: солнце стало месяцем, явились около него с обеих сторон столпы красные, зеленые, синие, и огонь с небеси облаком великим спустился на Лыбедь. Люди отчаялись все в своей жизни, думали, что наступает кончина, целовались, прося прощения один у другого, горько плакали и молили Бога: «Се: милостию своею Бог преведе страшный огонь тот через город бес пакости». Накануне же было сильное землетрясение. Печерская церковь во время обедни расступилась на четыре части. В трапезнице уготованный корм и питье для гостей, столы, скамьи разбиты были падавшими сверху из потолка камнями. В Переяславле расселась надвое церковь Святого Михаила. В Володимире иконы подвиглись по стенам и паникадила со свечами поколебались.

Знамения не подействовали: побоявшись сколько полагается, греховодники-русичи снова взялись за зло. Тогда в Новгороде открылся страшный голод, а за ним – мор. На Воздвижение мороз побил весь хлеб, и он вздорожал пуще прежнего. Жители расходились по чужим сторонам. Потом начался опять мор. Епископ Спиридон устроил скудельницу<sup>30</sup>, приставил к ней мужа смиренного Станилу и велел свозить туда с улиц мертвых. В короткое время было навезено 3030 трупов. Весной голод стал свирепствовать во всей стороне новгородской еще пуще. Жители ели мох, желуди, сосну, ильмовый лист, кору липовую, нечистых животных, друг друга. Таких злодеев осекали, вешали, сжигали. Отцы и матери отдавали детей своих одерень из-за хлеба. Злые люди зажигали дома, в которых предполагался хлеб. Псы пожирали на улицах мертвецов. И все завершилось большим пожаром: погорел весь посад славенский

<sup>30</sup> Кладбище, погост.

до Холма, кроме церквей. Город был при конце. Но Бог умилился: прибежали немцы с житом и мукой, и город ожил...

А татары медленно подвигались вперед. В 1232 году подошли они к берегу Волги и стали кочевать по плодородным степям. И вдруг – раскат грома: гонец, присланный к князю Георгию от князей рязанских в самую Иванову ночь, поведал князю после заутрени, что татары вдруг бросились на Великие Болгары, взяли их на щит, все пограбили, а самый город пожгли.

– И годно им, поганым!.. – сказал князь Георгий, почесывая, по своей привычке, в непыратой бородке своей. – Смирнее будут...

Гонец-дружинник – это был сын знатного боярина Коловрата, который переселился в Рязанскую землю из Галичины, – с удивлением посмотрел на равнодушное лицо Георгия.

– Так-то оно так, – проговорил он, – но наши князья опасаются, как бы после Болгар не пришла поганым охота и на Русь пойти...

– Ну, не проглотят, подавятся... – спокойно сказал князь. – Мало ли их на Русь наскакивало, а где они? Погибоша аки обры, как говорится...

– Тебе виднее, княже... – сдерживая раздражение, проговорил Коловрат: он едва стоял на ногах от усталости. – Наши люди, которые прибежали с сумежья, в одно слово говорят: земля стонет от числа их, звери безумеют, птицы мертвыми падают... Смотри: не прогадать бы! Будь на Калке все русские рати ко времени, может быть, битва кончилась бы и по-другому...

– Да я разве что? – усмехнулся Георгий, которому было неприятно это напоминание о Калке. – Я не отказываюсь. Поглядим, как там у них дело обернется: в день оттуда не прискачешь, будь хошь растатарин ты...

Коловрат только зубы стиснул, и красивое лицо его побледнело: экое дубье, прости Господи!..

– В святых книгах написано, – учтиво продолжал князь Георгий, – что к каждой земле своей ангел приставлен да соблюдает ее. Ежели последует гнев Божий на какую землю, Он повелевает ангелу другой земли идти войной на эту землю, и ангел не может воспротивляться. Так что же мы, грешные, можем тут сделать?.. Да, кстати: заходил тут ко мне немчин один, от попа римского прислан, а от меня к вам, на Рязань, поехал. Добрался ли он до вас? Такой настырный немчин – чистая беда, – насилу отвязался!.. Все на свою руку охота попу Русь повернуть...

– Отец сказывал мне, что был он у нашего князя, – отвечал Коловрат, – но так ни с чем и отбыл в землю Черниговскую.

– И какие там все сказки про нас небывлые складывают, просто диву даешься, право слово!.. – засмеялся князь и снова почесал в бородке. – Этот немчин привез с собой от попа грамо-тицу – наш владыка Митрофан взял ее себе, – в которой так прямо и прописано, что великий князь Володимир совсем-де не от Византии крещен был, а от Рима, от какого-то-де Бруны, что ли, который от попа римского для того и в Киев послан был, к... реке руссорум как-то. По-нашему, князь Володимир, а по-ихнему, вишь, выходит, реке руссорум. Придумают тоже!.. И явился, вишь, этот самый Бруна к Володимиру в нишей одежде, и Володимир так понял, что проповедью-то своей Вруна от бедности занимается, и говорит это ему: брось-де пустяки все эти твои, а я уж тебя одарю. Тогда Бруна обиделся, пошел к себе, оделся в самые что ни на есть дорогие одежды епископские и опять к князю явился. Тогда, вишь, Володимир и говорит ему: вижу, что не от бедности пошел ты на такое дело – значит, по глупости. Но ежели-де ты пройдешь живым через огонь, так я-де уверю и крещуся. Разложивши пожар большой, Бруна покадил на него, как полагается, водичкой святой окропил и прошел через огонь невредим. Володимир-князь бросился тогда-де к ногам его в слезах, и Бруна повел его и всю дружину к большому озеру и крестил их всех в сем изобилии воды. А потом-де какой-то из князей наш возьми Бруну да и убей. И были, пишут, над телом его чудеса всякие, и Володимир поставил над телом его церковь великую, и Русская-де церковь должна-де хвалиться

иметь у себя такого блаженнейшего мужа... Чего-чего только ни нагородили, беда!.. Ну а наш владыка книгам-то хитрее всякого попа римского будет, откопал это летописи и теперь ответ попу пишет: верно-де был ваш Бруна у князя нашего Володимира и с месяца времени гостил у нас, а затем князь проводил-де вашего епископа до самого рубежа... А они нись что напридумывали – обмануть, что ли, им в чем нас охота, уж не ведаю... Ну да слава Богу, у нас теперь и свои мужи есть, которые, может, поученее ихнего еще будут...

Витязь, хмурясь, слушал повествование. Тошно ему было. Приехал он сюда по делу большому, а его вот побасками какими-то забавляют...

Воевода княжой Петр Ослядюкович, один из «милостников», рослый, дородный боярин с белой бородой во всю грудь, только что вошедший в сени, сразу понял игру князя: Георгию нужно было показать рязанцам, что никакие татары не страшны нам и что мы сами свои дела с Божьей помощью, коли что, управим. И он поддержал князя:

– Когда Роман Галицкий ляхов победил, папа послал к нему посла намовляти того в латынство, обещая ему и фады всякие, и даже королем всей Руси учинити. И долго препирался с тем Роман: он тоже за словом-то в карман не лазил. А те, не срамяся, все лезли к нему с ласковыми словесами: какой папа-де мощный, и может-де ты, княже, богата, сильна и честна мечом Петровым устроить. Тогда Роман обнажил меч свой и говорит: такой ли-де меч-то Петров у папы вашего? Ежели-де такой, то может-де папа грады раздавати, а я-де поколе ношу свой меч при бедре, не хочу куповати<sup>31</sup> ино кровию, яко же отцы и деды наши размножили землю Русскую. Это стяжание<sup>32</sup> с латиной вот уж сколько времени идет, а толков у них что-то не видится...

– Теперь, боярин, о пре<sup>33</sup> не с латиной думать нужно, а с татарами, которые ближе латины... – сказал Коловрат, слегка покраснев: он догадался об игре хитрых суздальцев. – И, пожалуй, будут они позубастее твоего попа римского: они действуют не словесами ласковыми, а кривой саблей татарскою...

– Ну-ну... – примирительно сказал Георгий, почесывая в бородке. – Разве я что? Я не прочь... Только чего же горячку-то пороть? Посмотрим. А пока скажи отцу, что скоро мы тут кашу чинить думаем<sup>34</sup>. Тогда, в случае чего, прошу всех князей рязанских на пированьице, почестный пир пожаловать... И ты приезжай...

– Покорно благодарим, княже... А с тем дозволю челом бить...

– Что ты, что ты? Чай, так гоже?! – засмеялся князь. – Ты погуляй у нас. У нас в Володимире-то гоже... А погостишь и поедешь: куды спешить-то? У Господа времени много...

– Нет, княже, уволь... – решительно сказал Коловрат. – Коней мы уже выкормили, а князь наказывал мне поспешать как можно...

Князь для прилику попробовал еще раз удержать молодого витязя, но тот стоял на своем. Он откланялся князю и Петру Ослядюковичу и в сопровождении гридей княжеских вышел на двор. Там его ждали уже спутники, среди которых резко бросался в глаза высокий, статный, но рябой старик с бесстрашными глазами и выбитыми передними зубами.

Коловрат вскочил в седло.

– Ну, Плоския, ходом!.. – бросил он старику.

И рязанцы поскакали к перевозу через Клязьму.

Там, у воды, ожидая парома, стояла небольшая толпа крестьян с подошками. Паром медленно полз по солнечной реке с луговой стороны. И вдруг Коловрата точно ожгло по сердцу: красивая девушка с льняными волосами и нежно-голубыми, как небо, глазами смотрела на

---

<sup>31</sup> Куповати – покупать.

<sup>32</sup> Стяжание – состязание.

<sup>33</sup> Пре – распря.

<sup>34</sup> Чинить кашу – варить кашу. Согласно русскому обычаю, каша варилась при начинании любого важного дела. Отсюда выражение «с ним кашу не сваришь».

него из толпы. Была она босиком, с холщовым мешочком за плечами и с ореховым подошком в руках. В глазах Коловрата невольно отразилось восхищение. Красавица сразу заметила это и, слегка нахмутив свои соболиные брови, отвернулась. Еще немного, и рязанцы поскакали зеленой поймой к своей Рязани, а крестьяне в свою очередь взобрались на паром.

– Ну, Настенка, садись давай!.. – крикнула красавице ее подруга Анка, тоже красивая, румяная, с черными кудрями девушка. – А видела витязя-то?.. Ах, пригож!..

– Ну, больно нужно!.. – пренебрежительно отозвалась Настенка, но покраснела: и ее Коловрат поразил своей мужественной красотой и богатым убором бранным.

Коловрат в облачке пыли передом мчал к Рязани. В сердце его ласково сияло и не проходило видение красавицы суздальской. И грустно было молодому храбру, что вот потерял он уже ее и николи, может, больше уж не увидит...

## Баушка Марфа

Верстах в восьми от Володимира – версты тогдашние были вдвое длиннее – среди лесов дремучих беспорядочно раскидалась по косогору небольшая, дворов в восемь, деревенька Буланово. Булановцы были славяне, но откуда и когда пришли они в этот край, старики не помнили. Поговору судя, были они, скорее всего, вятичами с верховьев Оки. Суздальский край заселялся поселениями со всех концов Руси. Верстах в десяти от Буланова, еще дальше в леса, был, например, глухой край Славцево, где несколькими селениями осели новгородцы. А среди этого небродного населения хмурились крошечные, редкие деревеньки старых насельников края, муромы и мещеры, с плоскими лицами, почти белыми волосами и угрюмым и злобным характером. Через овраг от Буланова сидела такая мещерская деревенька, которая славянами так Мещерой и прозывалась. И отношения между двумя деревнями этими были неприязненные. Даже ребятишки булановские и те никогда не упускали случая подразнить соседей. Лучшим средством для этого было показать им язык и, прыгая на одной ноге, задорно выкрикивать:

У, Мещера нехрещена,  
Солодихой причащена!..

То, что они были крещены, подымало их в собственных глазах. А мещерские ребята ругались нехорошими словами, а то при случае и камнями кидаться начинали...

Но если кровь поселей лесных и разлилась, то объединяла их жизнь лесная, трудная, да вера. Почитай, четыре века спустя после крещения Руси Володимиром их души все же оспаривали с одной стороны волхвы, колдуны, таившиеся в крепях лесных, и редкие, малограмотные батюшки в лапотках липовых, которые, путем не зная веры своей, тем не менее бесстрашно тщились «просветить» эти лесные души. Но вместе с лесовиками и батюшки весьма твердо верили и в лешего, и в домового, и в русалок, и в птичий грай, и в заговоры, и в людков, кроснят и щетков, как называли, каждое по-своему, все эти лесные племена домашних духов. И ни одна матушка никогда не осмелилась бы не поставить за печь угощения для «хозяина», а бабьим летом многоцветным – Богородице, которая слилась с Мокошью и Рожаницами. В грозу матушки торопились скорее опрокинуть в доме все горшки, кадки и вообще порожнюю посуду, чтобы злые духи, гонимые богом-громовником, не спрятались бы в них и тем не привлекли бы на дом золотой стрелы его... Византийщина вся пропиталась тут духом лесов, а старая вера точно повыцвела немножко, потускнела под этим налетом чужеземным, и эта дикая мешанина из двух вер, одна другой резко враждебных, должна была удовлетворить духовные потребности лесовиков.

И когда – очень редко – шли булановцы поклониться святыням володимирским, они, конечно, прежде всего читали на путь-дороженьку старый заговор, перепутанный уже, непонятный, и боязливо слушали и ворнограй, и зловещее стрекотание сороки-белобоки, и волчий вой в глухих болотах, а когда видели пестрого дятла, то, хмурясь, отплевывались: нехорошая птица!.. И ежели попику их нужно было в соборное воскресенье пойти к владыке, то и он, выходя, шептал про себя корявыми губами: «Стану я, раб Божий, благословясь, пойду перекрестясь из избы дверьми, из двора воротыми, выйду я в чистое поле, обращусь на восход солнца, поклонюсь ему низенько. Там лежит святое окиян-море, а на нем остров Буян, а на острове лежит бел-камень, а вокруг острова ходит золотая щука. Как не бывать в светлом раю проклятому дьяволу и волшебнику, так не бывать бы на мне, рабе Божьем, тем злым, лихим притчам, скорбям и болезням. Како не восстанет из гроба мертвый человек, так бы не мог восстать против меня начальный человек...» Заговор этот он учил или со слов старенького попака на соседнем погосте, а то так, из тайно хранимых им в укладочке, под замком, опасных отре-

ченных книг, как Чаровник, Волховник, Коледник, Громовник, Молнияник или Сносудец... Что из того, что с Патрюков виден Володимир златоглавный со своими соборами, у города стольного – свое, а у лесов – свое. Лес дремучий крепко держал во власти своей лесные души...

По самой середке Буланова, окнами на красную сторону, стояла ладно поставленная изба в три окна, с хорошим двором, принадлежавшая отцу Настенки, Иванку Стражке. Как и все посели, он занимался преимущественно земледелием. Дело это в лесном краю было не из легких: прежде чем посеяться, надо было землю от дремучего леса освободить и пожечь его – все это вместе называлось притеребами, – а затем уже, пройдя по пеплу сохой, и сеять. Навозить землю тогда мужики еще не понимали, и потому после двух-трех урожаев надо было передвигаться в лес дальше и снова трудиться над притеребами. Но с делом Иванко справлялся хорошо: большая, сильная семья его к работе была охочая и в работе едкая. А кроме того, на Оленьей горе он мельницу-ветрянку поставить ухитрился, единственную на всю широкую округу, сын Ондрешка по зимам на пардусный промысел ходил: медведей бил, лосей, волков, белку, соболя, куницу и птицу всякую, и все это в город продавать возили. Домом крепко, по старинке, правила баушка Марфа. Но в последнее время замонашила старуха что-то, в святость ударилась и все то туда, то сюда по богомольям ходила. Иной раз целыми месяцами пропадала старая. А вернувшись, такого иной раз наскажет, что все уши развесят. На таких богомольцев смотрели тогда на Руси как на избранников, особенно угождающих Богу. И это усердие баушки придавало их дому еще больше весу. Нынче по весне баушка ушла новгородской святине поклониться. Размечталась было старая о Ерусалиме далеком, но попутчиков не нашла, а одной идти в такую даль боязно было. Так и пошла в Новгород.

И когда Настенка, усталая, запылившаяся, вошла в деревенскую околицу – все они ходили поклониться Матушке-Заступнице Боголюбской перед страдой, – она сразу заметила у своей избы какое-то оживление.

– Баушка Марфа с богомолья пришла!.. – радостно объявили ей ребята. – Иди скорее...

Несмотря на рабочий день, в избе были почти все булановцы: так всем любопытно было узнать, где баушка была и что видела. Марфа была невысокого роста, крепкая старуха с обветренным лицом, на котором стояло особенное оживление, которое приносит человек, вернувшись под свой кров из далеких стран. Расцеловавшись со своей любимицей Настенкой, баушка и гостинец ей тут же передала; крестик оловянный да бусы многоцветные, которые она в Новгороде на Торговище купила. Но булановцы так теснили ее со всех сторон расспросами, что она должна была тут же продолжать рассказ о своих странствиях:

– Ну, осмотрели мы это всю святыню ихнюю в городе, помолились везде как следует, а потом повели нас по монастырям... У нас в Володимире да в Ростове их немало, а там просто и не пересчитаешь: до чего богомольны новгородцы эти!.. Осмотрели мы Перынский монастырь, и Юрьев, а потом в Антоньевский пошли... И Господи, батюшка мой, что там чудес, что чудес!.. Жил, вишь, в старые годы, рымлянин какой-то, Антоний этот самый, и когда поп римский на веру Христову ополчился, Антоний против попа пошел: не продам-де тебе Христа, не отрекусь от Него, батюшки! Поп осерчал накрепко и всех таких, как Антоний, извести захотел. И вот верные скрылись от него, антихриста, в пещерах и там поклонялись Христу истинному, как полагается. А Антоний – ему тогда только восемнадцать годков было – был человек богатый и вот, чтобы развязаться со своим богатством, засмолил он все свое золото и серебро в бочку и бросил ее в море. Поп римский проведал, где прячутся верные, послал туда стражу свою, и те все разбежались. Антоний, батюшка, стал на камень посередь моря и стоял на нем, и все молился – не то год, не то два, уж забыла. И вот поднялась вдруг страшная буря, волны оторвали камень тот и понесли его по морю не знай куды. И вот плывет камень год, плывет другой, и, наконец, заносит его в реку Волхов, к самому граду Новгороду. Увидали Антония новгородцы и со всех сторон сбежались к нему, а он, известное дело, по-нашему-то не может и слова молвить. Наконец послал ему Господь дар языка нашего, и он все, по настоянию вла-

дыки, рассказал ему, и когда владыка все доподлинно узнал, пал он пред угодником Божиим на землю, а Антоний тоже пал перед ним, из уважения к великому сану его, – и так лежали оба, и плакали от умиления сердечного... И сейчас же владыка потребовал, чтобы новгородцы на том месте, где пристал камень, отвели земли под монастырь. Те так и сделали. Но земля-то хоть и была, а денег не было. Через год или, может, через два около камня, на котором продолжал стоять Антоний, рыбаки закинули сети, но, протрудившись всю ночь, не поймали ничего. И сказал им Антоний: вот вам-де гривна серебра, ребята, – закиньте невод еще раз, а все, что поймаете, то отдадите в дом Богородицы. Те послушались, закинули сети и вытянули много рыбы и какую-то бочку. И святой приказал: рыбу – рыбакам, а бочку – на обитель. Но рыбаки воспротивились: все-де наше. И вот пошел с ними Антоний к судье. Засудить рыбаков, знамо дело, было ему нетрудно: он узнал свою бочку и сразу же сказал судье, что в ней. Судья присудил ему бочку, и святой сразу же отдал все богатства свои на монастырь... И мне, старухе, – заключила баушка дрожащим голосом, – сподобилось приложиться к камню, на котором приплыл преподобный в Новгород...

И она кончиком платка вытерла выступившие вдруг слезы умиления и высокой духовной радости. И булановцы сморкаться стали: уж так гоже, так гоже обсказывает все баушка, что надо бы лучше, да уж некуда!.. И все ахали и дивовались...

– Да это еще что!.. – подхватила баушка, поддаваясь искушению поразить своих односельчан еще больше. – Новгородцы, они к святыне и-и какие усердные!.. И некоторых из них сподобил Господь видеть чудеса неизреченные. В этом вот самом Антониевом монастыре рассказывал нам черноризец один, как двое торговых новгородских заехали морем к самому раю... Шли они на трех ладьях. И поднялась вдруг ужасная буря, и две ладьи потонули, а третью к каким-то горам прибило. На горе был написан, да эдак гоже, глаз не оторвешь, деисус, и сразу было видно, что не человеческие руки творили его...

– А что это такое, баушка: деисус? – спросил кто-то из толпы.

– Этого я уж сказать тебе не могу, соколик... – отвечала баушка. – Сказывал черноризец: «Деисус», а мы расспрашивать его больно-то уж и не посмели... Должно, икона какая... Да... И вся гора была в свете, ровно как солнечном, ну только еще краше, а из-за горы слышали новгородцы ликование великое. И захотелось им посмотреть, кто это там и почему веселится так. И вот один из них взобрался по мачте наверх и только глянул за гору, сейчас же соскочил на землю и убежал туда с радостным смехом. Послали другого и говорят, что ты-де уж не бегай, а скажи нам все, что и как там. И тот заглянул, заплескал от радости в ладоши и убежал. Тогда послали новгородцы третьего и за ноги его привязали, чтобы он уж не убег. Но и этот, как только увидел светлость места того, сейчас же бежать бросился. Новгородцы потянули было его за веревку назад, но он сейчас же и дух испустил. Видно, – сказали тогда гости, – не дано нам видеть сего неизреченного веселия и светлости места сего... Но догадались они, что за горой был рай и что, увидевши его, уж не может человек воротиться в мир сей, где столько горя всякого и забот... А другие новгородцы тем временем, поехавши на запад солнца, видели молнииную реку, которая из преисподней истекала, и видели на дышущем море червя неусыпающего и слышали скрежет зубовный грешников в огне...

– Господи, батюшка... Микола Милосливый... – вздыхали булановцы. – Ты погляди, погляди, чудеса-то Господни!.. И страсти какие... Ни в жисть не согласился бы я и глазком одним поглядеть: враз от одного страху ума решишься...

– И что же, много так странных людей-то по святыне ходит? – спросил дяденька Иванко, дюжий, хозяйственный мужик с рыжеватой бородой и смелыми глазами, гордясь своей ловкой старухой.

– И-и-и!.. – махнула та рукой. – И не говори, сынок!.. Так со всех сторон народик валом и валит... Ну, только правду говорить надо: есть такие, которые от полного усердия подвизаются, а есть и дородные молодцы, которым абы порозу ходяче есть да пить готовое. Много

среди христоролюбцев этих и обманщиков. Зовется-то он каликой перехожей, а на деле разбойник настоящий. Ну, все же таких каличей круг – у них, у калик-то, круг свой есть, который за делом приглядает, – удерживает и заставляет в случае огреха епитимью какую ни на есть исполнить... А есть и добрые люди, которые за мир крешеный молят. И сказывают, что ежели который круга каличьего не послушает, так его калики где в поле в землю по плечи закапывают, да так и покидают: помирай как хошь... Нельзя же...

И так рассказывала баушка Марфа о хождениях своих по святыне день и ночь, и все, и ближние, и дальние, слушали ее ненасытимо. И так распространялась слава о святыне русской по лесам дремучим и просвещались души, косневшие в тени сени смертной, светом истинного богопознания. И потому, когда баушка собралась на погост к Борис-Глебу помолиться, батюшка сам вынес ей просвирочку о здравии. И все домашние этим очень гордились...

Но иногда подавали рассказы баушки поселянам повод к спорам ожесточенным. Так, раз, сидя на завалинке, заспорили булановцы о том, кто из богов главнее: Микола-угодник или Илья-пророк. Большинство тянуло за Илью: у него молния в руках, и он, чуть что, в лепешку человека расшибить ударом громовым может. Обратились к баушке, и она из духовной сокровищницы своей тотчас же извлекла подходящий к делу случай.

– Жил-был мужик один, – сказала она. – Миколин день он завсегда почитал: и молебен отслужит, и свечку поставит, а про Илью-пророка и забывал иной раз. И вот раз как-то идут Микола-угодник с Ильей-пророком полем этого самого мужика, а зелены хорошие такие, не насмотришься. «Вот будет урожай так урожай!..» – говорит Миколай. «А вот посмотрим, – отвечает Илья сердито. – Как выбью я у него все градом да молнией пожгу, будет он меня знать!..» Ну, поспорили это святители и разошлись кто куды. А Микола-угодник сейчас же к мужику своему завернул: иди-де скорее да продай весь твой хлеб ильинскому попу на корню, а то беспрременно-де у тебя его градом повыбьет весь. Мужик послушался. И вот через некоторое время надвинулась гроза, град ударил, и весь хлеб мужика как ножом срезало. А мужику теперь что – он в стороне: пострадал ильинский поп!.. А Микола милостивый, батюшка, посмеивается потихоньку, как он ловко Илью-пророка провел... Так-то вот, родимые. Надо и того, и другого, и всех почитать: в беде и будет к кому обратиться... Как же можно...

## Отрава любовная

По городам земли Суздальской ползали тревожные слухи о поганных татарах за Волгой, а деревни делали свое дело. Настенка, которая видела в городе приезд к князю Георгию дружинников рязанских, рассказать про нехорошие слухи забыла, а когда вспомнила, мужики во внимание ее слов не взяли: чего там, княжье и сами управятся. До татар ли тут, когда покос на носу, а там жатва, самая сердцевина мужицкого года?.. Авось Господь милостив, беду-то стороной пронесет... А может, княжье-то и нарочно народ страшит, чтобы слушался лучше...

И вот зашумели наконец по раздольным заливным лугам Клязьмы покосы веселые. Травы были местами в рост человека, и мужики рвали и метали, начиная работу до свету и кончая с темнотой: все каждому старателю захватить побольше хотелось... А как стемнеет, в теплом сумраке, полном аромата сена, песня пойдет по лугам, хороводы закружатся, горелки веселые начнутся – словно день-деньской не работали, а играли! За Настенкой, как всегда, парни толпой так и ходили и всячески перед ней выхвалялись. Но недаром прозвали девку гордячкой, недотрогой: ни один из них не мог похвалиться, что получил от красавицы улыбку теплее других или слово какое ласковое. А с тех пор, как она из города, от Боголюбивой, вернулась, еще строже стала она, еще неприступнее, настолько, что даже и мать, и баушка Марфа и поварчить стали:

– Рай<sup>35</sup> можно тебе так отпугивать всех? – бокотали<sup>36</sup> они. – Чай, ты девка на выданье. Пора и о суженом думать. Тот не гош, другой не гош, – эдак недолго и вековушей остаться... Надо, девка, поласковее быть...

Но Настенка не слушала никого и, отработав, – ох и хватка девка в работе была!.. – она выбирала себе местинку где-нибудь в сторонке от игры и хороводов, ложилась на душистую копну и глядела в звездное небо. И вот – этого не знал никто, – вдруг оттуда, из полей звездных, спускался к ней витязь молодой: и стоит среди звезд, и смотрит на нее милыми, радостными глазами, как тогда, на перевозе, смотрел он на нее издали... И вдруг горечью полынной отравляла душу страшная мысль: никогда, никогда больше не увидит уж она его – в городе сказывали, что он от рязанского князя гонцом, вишь, приезжал и что будто дело у них с князем что-то не сладилось... Как, где теперь увидишь его?.. И начинало сердце ныть истомно, жаловаться, плакать, и не любы ей были песни веселые хороводные, что по широким лугам над рекой плыли...

Подыгрывая себе на жалейке и приплясывая, мимо, будто ненароком, проходил Кондраш из Лопушков, хват-парень, первый на всю округу древолаз<sup>37</sup> и сердцеед.

– А-а, Настенка!.. Отдыхаешь, родимка? – осклабился он. – Может, и мне местечко с тобой на копышке найдется?..

И он хотел было плюхнуться рядом с красавицей на сено.

– Не замай!.. – сказала она, строго приподнявшись. – У меня озоровать, ты знаешь, положенья нет. А то и леца съешь.

– Эх, Настенка, ну словно вот в тебе нечистый какой сидит! – заскреб тот в затылке. – Все девки как девки, одна ты чудная какая-то... Я к ней всей душой, а она ко мне ж...

– С Богом, по морозцу... – насмешливо сказала Настя и, когда парень несолоно хлебавши снова, наигрывая и приплясывая пошел к хороводу, она опять завалилась на пахучее сено, и сейчас же из-за звезд к ней витязь, золотым шлемом блистающий, явился с улыбкой своей, от которой в душе словно птички весной пели. А заснет с устатку, и во сне витязь незнаемый,

<sup>35</sup> Здесь: разве.

<sup>36</sup> Бокотать – ворчать, брюзжать.

<sup>37</sup> Древолаз – бортник, охотник за диким медом.

далекий тревожит покой ее, и зовет ее за собой куда-то в страну неведомую, где цветут цветы лазоревые и с небес звездочки Божии сияют, усмеваются...

Отшумели покосы, по пойме всюду, как шеломы богатырские, стога стали высокие. И началась жатва тяжкая, когда поясница болит так, что словно никогда и не разогнешься, в глазах от натуги круги лазоревые ходят, а жажда так тело истомленное палит, что словно вот так всю Клязьму и выпила бы!.. Но как ни тяжело было Настенке, и тут, в слепящем сверкании солнца, являлся он ей, колдун проезжий, укравший у нее сердце, а когда в полудни уйдет она с подружками в лес за земляникой алой да черникой синей, и там, среди сосен неохватных, видит она его, только его одного. И болит сердце тугой нудю: да неужели же никогда, никогда не увижу я его больше? А тогда, дура, еще отвернулась да нахмурилась!.. Что он, сокол ясный, подумал тогда о ней? Деревенщина, облом лесной, подумал, чай, – поглядеть на людей и то путем не умеет... А она и рада бы всей душой глядеть на него – он с первого же взгляда, еще в городе, ослепил ее, – да вот ровно в сердце что не позволяет. А вдруг заметят? А вдруг засмеют?.. И где, где он теперь, сокол ясный?.. Так бы вот и ударились о сырую землю, обернулась бы голубкой сизокрылой да и понеслась за ним в чужую дальнюю сторонушку...

– Да что ты, Настенка? – крикнула ей Анка Бешеная. – Али угорела? Зовешь не дозовешься... Хошь, купаться сбегать?..

– Нет, не хотца... – рассеянно отвечала Настенка. – Да и парни озоровать, пожалуй, будут...

У парней в самом деле обычай был: как увидят, что девки купаться собираются, спрячутся в кусты, да и караулят, а как только девки в воду, парни рубахи их захватят да и сидят в кустах, ржут, выкупа просят... А девки и-и пищать, и-и притворяться, а самим любо!.. Настенка похабу эту терпеть не могла, потому никогда не купалась, когда видела, что парни поблизости крутят...

Ужин в этом году был надо бы лучше, да уж некуда, и Иванко всю бороду свою эдак поглаживал: и хлеба нажали гоже, да и на помоле заработать можно будет, благо есть чего мужику молоть, Господь дал... С работой стало полете, жара свалила, и девки частенько отрывались в леса по грибы да по ягоды: земляника да черника сошли уж, клюква далеко еще не поспела, так пока брусники красной по мхам набрать можно было да гонобоблю сизого... А гриба, гриба что высыпало!.. Частенько мужики бросали даже работу и, запрягши лошадь, всей семьей ехали в дальние леса, а в особенности на Лисьи горы, по грибы: ох уж и гриб там знатный рос – что твои бояре сидят во мху-то!..

И там, по борам звенящим, среди болот непроходимых, как только останется Настенка одна, так сейчас же и явится к ней желанный ее, и, все на свете забывая, говорит она ему речи жаркие и все на себя дивится: и где только подслушала она их, где научилась?! И так пьянят ее слова колдовские, что и пути пред собой она не видит. Все кузовами грибы к лошади носят и в телегу высыпают, а она, точно на смех, как слепая ходит. А раньше первой грибницей на все Буланово считалась...

– Золотко мое ненаглядное... – шепчут жаркие губы ее в то время, как глаза, слезами отуманенные, бесплодно шарят по мхам боровиков темноголовых. – Чуешь ли ты боль-тоску мою? Белый свет стал не мил мне, как закатилось ты, солнышко мое красное...

И в белый мох капают одна за другой слезы горькие...

– Ну, словно вот кто зельем девку опоил... – тревожилась мать, наблюдая за ней украдкой. – Ежели любовь пришатнулась, так кто? Где? Ни единого к себе и на полверсты не подпускает...

И она подумывала уже свозить Настенку к колдуну в глухую лесную деревеньку Раменье, да что-то боязно было: колдун, баяли, некрещеный и будто с силой нечистой близко уж очень знался. Когда лет десять тому назад встали было лесовики против попов, так это он все дело затер, как потом сказывали. Сколько тогда князь народику погубил, а колдунице отвел

всем глаза и в стороне от всего остался... Может, сперва на погост к попу съездить? Авось и отмолит...

И, аукаясь, подбивались грибники лесами дремучими к озеру Исехр, что в чашах лесных спряталось, темное такое, задумчивое. По топким берегам его, лесом поросшим, птицы всякой гнездились видимо-невидимо. По вечерам выходили к нему на водопой и лоси могучие с рогами, что твоя борона, и медведи, а посередке, от берегов подальше, станицы лебедей белых садились, гуси серые, уток тучи неоглядные. В темных глубинах его рыбы всякой водилось тьма-тьмушая. Но, как и птицу, и зверя, так и рыбу было очень трудно взять тут, среди коряг да зыбелей да осоки непролазной, в которой таились мириадами злющие комары: как подымутся, света Божия не видно, и не только человек, а и медведь, и лось, и всякий зверь всеми ногами от озера убежать норовит.

Но не рыба, не птица, не зверь главное на Исехре было – главное на озере тихом были чары его: точно и в нем, как и в камне у Миколы Мокрого, бес жил, мечту творящий. Выйдет человек, станет на берегу, да и заглядится, и стоит, и думает незнамо что и сам, потом не знает, где была душа его, нись на земле, в краю никому неведомом, дивном, нись у Господа на небе. И вздохнет, и, повеся голову, пойдет прочь, унося в душе своей тишину и жуть, и чары лесные...

И Настенка, выйдя на берег озера, задумалась у куста уже наливающейся калины. Неподалеку от нее цапля серая по зеленой зыбели ходила. На дальнем болоте, по Буже, журавли в трубы серебряные перекликались. Изредка тяжелая рыба плескалась в темной, сонной, точно заколдованной воде. И во всем этом сердце чуяло что-то вещее, небывалое, на сказку похожее... И вот вдруг из дали солнечной, где играла вода так, что смотреть было нестерпимо, увидала Настенка, плывет ладья белокрылая. Не шелохнется под ней вода, не шевельнется ни одна веточка в лесу дремучем – все вот ровно дыхание затаило и ждет свершения чуда-чудного и дива-дивного... И все ближе и ближе подплывает к ней по воде сонной ладья тихая, и – Господи, да что же это такое?! – запыхало сердце ее огнями, и с блаженной улыбкой, закинув голову, протянула Настенка к ладье руки свои: на ней, на носу, весь огнем солнечным залитый, точно вот сам Егорий Победоносец, что на погосте на иконе написан, стоит он, желанный ее, и протягивает к ней руки...

– Настенка, а-у-у-у!.. – послышался голос матери из чащобы. – Куцы ты там девалась?

Исчезла ладья с желанным в блеске солнечном, и, глотая слезы обиды жгучей, Настенка, собрав все свои силы, отозвалась:

– А-у-у-у!.. Здесь я, матушка, у озера...

– Ты смотри, не лазь там зря, а то в окно еще угодишь... – тревожась, крикнула мать.

«Только бы того и нужно мне, – в тоске подумала красавица. – Не увижу я николи сокола моего ясного, а без него мне и места нет на сырой земле...»

В ближайшем кусту заворошилось вдруг что-то тяжелое, и могучий глухарь, звонко заплескав сильными крыльями, понесся через озеро...

## Чудище степное

Самое страшное, может быть, в жизни человеческой – это то, что никогда, ни в каком случае не может человек даже приблизительно предвидеть, что выйдет из того или другого поступка его. Когда-то, в глубине веков, кочевала в устоях Амура одна из татарских орд. Раз лунной ночью одна из девушек, томимая тоской любовной, отдалась витязю. И родился у нее в положенный срок сынишка, которому она обрадовалась чрезвычайно и которого назвали Темучином. Потеряв отца в тринадцать лет, маленький Темучин испытал на себе всякие удары судьбы, и только к сорока годам встал он на ноги и, закаленный в бедах, опрокинул всех своих врагов и приказал их сварить живьем в восьмидесяти котлах. От удачи к удаче пошел с тех пор Темучин, и скоро стал он неограниченным владыкой безмерных азиатских пространств, и, прозванный за свое могущество Великим Ханом – по-татарски Чингисхан, порешил он наконец завоевать весь свет.

Покорив почти все царства Средней Азии, полководцы Чингисхана подошли наконец к преддверию в Европу и, одержав на берегах Калки блестящую победу, повернули назад, в степи. Прошло тринадцать лет. За это время татары закончили свои завоевания в Азии. Чингисхана не было уже в живых. Преемник его, Угэдэй, не оставил, однако, мечты его о завоевании всего мира. Он царственным жестом отдал земли, лежавшие между Яиком и Днепром, племяннику своему Батюю с повелением покорить их. Батый, взяв и разорив Великие Болгары, стал с бесчисленной ордой своей на берегу Волги. Кровавая слава татар ширилась и крепла. Один персидский историк XIII века говорит, что они имели «мужество львиное, терпение собачье, предусмотрительность журавлиную, хитрость лисицы, дальновзоркость ворона, хищность волка, боевой жар петуха, попечительность курицы, чуткость кошки и буйность вепря при нападении»; персам надо было верить, что победили их существа почти сверхъестественные, а не люди. При этом условии поражение не так стыдно. Но это была неправда: татары были такие же люди, как и все, татары были «язычники». Еще в Приамурье познакомились они с главнейшими вероисповеданиями, раздиравшими тогда человечество, и, как язычники, относились ко всем с одинаковым безразличием. Но все же больше всего не нравились им христиане – своей притязательностью на исключительное обладание всей истиной и нетерпимостью к другим. С христианством познакомились они через несториан, которые в V веке были изгнаны из пределов Греции за то, что не так веровали, и которые нашли себе приют в Персии. Отсюда несториане повели проповедь по всему Востоку: в Индии, Туркестане, Монголии и Китае. В Монголии они имели успех у тюркского народа уйгуров, жившего на восточных склонах Тянь-Шаня, и у монголов-кереитов<sup>38</sup>, живших в Северной Монголии, в верховьях рек Селенги и Орхона, со столицей Каракорум, или Харахорин.

До Чингисхана грамоты у монголов не было. Уйгуры, как самые грамотные – грамоте их научили проповедники-несториане, дав им сирскую азбуку, – были им призваны к управлению огромными владениями хана, а их дворянство заняло лучшие места при дворе. У кереитов принял христианство и сам царь. Когда Чингис покорил их, он женился на одной из племянниц царя, а двух взял в жены своим сыновьям, так что прославившиеся потом кровавые завоеватели Менгу и Кубилай были сыновьями «христианки». И как только Чингис почувствовал себя окрепшим, он прежде всего обнародовал Книгу законов Яса, что значит запреты, на которую монголы стали смотреть как на свое Евангелие или Коран. В этой, в общем, чрезвычайно жестокой книге было сказано, однако, что все веры должны быть одинаково терпимы и что служители их, наряду с врачами, нищими, учеными, подвижниками, молит-вослагателями и гробохраниителями, должны быть освобождены от всяких налогов. А когда потом хри-

---

<sup>38</sup> Кереиты – союз монголоязычных племен, обитавших в Забайкалье и Монголии в X—XIII веках.

стиане, как полагается, стали очень уж напирать, то один из ханов ответил им: «Мы веруем, что есть единый Бог для всех народов, которым мы живем и которым умираем, и к Нему мы имеем правое сердце. Но как Бог дал руке многие пальцы, так дал Он людям и многие пути спасения. Вам дал Бог Писание, и вы не храните его, а нам дал волхвов, шаманов, и мы делаем все, что они нам приказывают, и живем в мире». Но не следует принимать все эти возвышенные мысли за чистую монету: на самом деле ханы твердо веровали только в свой кулак. А к терпимости побуждали хитрых азиатов только политические соображения – зачем восстанав-лять зря против себя племена и народы? – и суеверие: раз они боялись своих хитрых шаманов, то естественно было бояться и других шаманов. А вернее всего, главной причиной веротер-пимости их было равнодушие: толкуйте там, как хотите, спорьте, сколько угодно, а мы будем делать свое дело.

И делали они его настолько исправно, что в 1237 году Батый твердо стал на левом берегу Волги и поджидал только с Руси тайных соглядатаев с последними уже вестями. А в ожида-нии их жизнь огромной орды шла своим обычным порядком, подчиненная самой строгой дис-циплине: если не единственным, то самым любимым наказанием татар была смертная казнь. И потому вои их – они были разделены на десятки, сотни и тысячи – ходили по ниточке, и не только Батый или Великий хан, сидевший в Каракоруме, но и всякий темник – то есть коман-дир десятитысячного отряда, тумана, – был над монголами и царь, и Бог... А в круглых шат-рах хозяйничали их жены, которые превосходно ездили верхом и не уступали супругам своим даже в стрельбе из лука. Чумазые, оборванные ребятишки кишели везде, как саранча: орде нужны были вои. Огромные косяки их некрасивых, но выносливых коньков и огромные стада рогатого скота паслись в зеленой степи... Начальники часто отъезжали далеко в степи и там тешили сердце свое молодецкое то скачкой лихой, а то охотой с соколами или беркутами за дичиной всякой...

Орда была огромной тучей человеческой саранчи. В туче этой была сосредоточена страш-ная сила. И эта сила должна была найти себе какое-то применение.

И один за другим стали прибывать с того берега соглядатаи – и половцы, и татары, и рус-ские, – и все в один голос доносили: великое на Руси между князьем разладье стоит – только ударь хорошенько, так все сразу и посыплется... Недоставало только главного посланца, ста-рого степного волка Плоскини, который был отправлен в самое нужное место, к князьям суз-дальским и рязанским, куда должен был быть направлен первый удар. Но Батый не торопился: зима привычных к морозам татар нисколько не страшила, напротив, как реки станут, ход будет всюду... И он часто выезжал в степь и предавался любимой потехе своей, охоте на волков нагоном: всадники на выносливых лошадах своих до тех пор преследовали волка, пока он не выбивался из сил и тогда его добивали плетьюми...

Вернувшись с одной из таких охот своих, Батый лежал около огня в огромном шатре на мягких шелковых подушках. Вокруг него разместились гости: сын самого Угэдэя, Гаюк, отно-шения которого с Батыем были натянуты, племянник великого хана Менгу, старый Судубай Багадур, герой Калки, знатный воевода Бурундай и другие военачальники... Все, перебрасыва-ясь ленивыми фразами, медлительно тянули благодетельный кумыс. За стенами шатра шумел своим ровным, пестрым шумом безбрежный лагерь, и в сухом морозном воздухе стояла та вонь кизяка и конского мяса, которая у нетатар вызывает всегда непобедимую тошноту. Пахло и скотом, и человеческими испражнениями, и всей той грязью, которую человек – в отличие от других животных – носит и вносит с собой повсюду...

И вдруг в неумолчном гомоне огромного стана чуткое ухо Батыея уловило быстрый поскок по мерзлой, звенящей земле нескольких лошадей, скакавших, по-видимому, к его ставке. На полном, немного сонном и плоском лице татарина отразилось внимание. Пола шатра откину-лась, и один из начальников стражи, стоявшей всегда вокруг шатра, сложив обе руки на груди, с низким поклоном проговорил:

– Прибыл воевода Пlosкиня...

Батый молча – от бешеной скачки по степям он очень притомился – наклонил свою круглую голову со слегка оттопыренными ушами.

– Пусть войдет...

И тотчас же в шатер вошел решительными шагами старый Пlosкиня, бодрый, оживленный, как будто ему было тридцать лет.

– А-а, наконец!.. – с ленивой улыбкой приветствовал его, не вставая, Батый. – А мы уж заждались тебя...

Пlosкиня приветствовал по-татарски Батыя и его гостей и слегка улыбнулся своим беззубым ртом.

– Конец неближний... – сказал он, садясь по приглашению Батыя ближе к огню на подушки. – Да и дело нешуточное...

– Ну и что же?

– Подробности рассказывать не стоит... – сказал Пlosкиня. – А суть вся в том, что великий князь суздальский рязанцам вряд ли подаст вовремя помощь...

– Верно?

– Верно.

– Почему?

– Потому же, почему на Калке князья больше всего между собой воевали, чем с татарами... – зло усмехнулся Пlosкиня. – В Рязани тревога большая: князь понимает, что на подмогу рассчитывать нельзя, а в особенности зимой. Русь зимой больше всего на печи лежать любит...

– А переправы как?

– Ежели так постоит еще дня три, то можно и в путь...

Хан ударил два раза в ладоши, и тотчас же из заднего отделения шатра вышел старый слуга и склонился перед господином.

– Угощение нашему гостю. И живо!..

Тот с низким поклоном молча скрылся за ковровыми занавесами, и почти тотчас рабыни стали вносить на больших подносах угощение. Приближенные Батыя уже знали, что русский друг хана кобылятины не ест, и потому для него уже жарили молодого барашка. Одна из рабынь подкинула в огонь кизяку. Даже в лесистых местностях богатые татары не употребляли на топливо дерева: кизяк считался особой роскошью.

– Ну а подружился с боярами в Рязани?... – прищурил в улыбке свои раскосые глаза Батый.

– Будет золото, будут и друзья... – опять зло усмехнулся беззубым ртом Пlosкиня. – Но ты, хан, решай: если ты вскоре двинешься, я не должен терять тут и минуты. Старый Коловрат накрепко верит мне – не следует допускать, чтобы у него зародились какие-нибудь подозрения. Я ведь послан им на Волгу разведать, как татары...

– Ну-ну, вот закусишь, отдохнешь – и ходу... А мы с тобой... А что твои вой?

– За ними дело не станет – только клич кликни...

Батый оскалил в улыбке свои белые крепкие зубы...

Наевшись, напившись, отогревшись и подкрепив себя коротким сном, морозной и звездной ночью Пlosкиня со своими молодцами поскакал на Рязань... По прибрежным ущельям были волчьи стаи...

## Поганьское насилие

Мороз усиливался. Лед на Волге окреп. Батый повелел всем женщинам и детям со стадами под охраной двух туманов откочевать к Яику. И когда орда, шумя, повалила медлительной, пестрой лавиной по забелевшей степи к востоку, рать татарская, построившись, начала переправу. И жутко было смотреть на несметные полчища эти, точно потопом залившими оба берега могучей реки...

И как только вся рать переправилась, она сейчас же по приказанию Батыя развернулась широким веером, чтобы начать наступление. Немцы строили в ту пору свои полки для боя клином – «свиньей», как живописно говорили на Руси, – Русь билась больше по вдохновению, а татары как на людей, так и на зверей пускали в ход облюбованный ими «загон», то есть старались охватить сразу как можно больше места, а затем сходились крыльями «загона» к одному какому-нибудь заранее определенному месту...

Русские дозоры, таившиеся по мордовским лесам, увидев силу татарскую, сломя голову понеслись к Рязани со страшной вестью. Великий князь рязанский Юрий Игоревич сейчас же разослал гонцов во все стороны, и к пригородам рязанским, и в соседние княжества. В Володимир поскакал племянник князя, а в Чернигов – старый богатырь галицкий Коловрат.

Русская земля тревожно засуежилась. В Рязань спешили со своими дружинами родичи князя Юрия, удельные князья рязанские, пронские, муромские. Старый Коловрат, горячий патриот, наткнулся на полное равнодушие черниговцев: «Вы, рязанцы, не пошли тогда на Калку, так чего же мы теперь к вам полезем?..» Напрасно всячески уговаривал старик безумцев, напрасно передавал те страшные вести о силе татарской, которые доставлены были дозорами с берегов Волги, «ничего, – говорили черниговцы, – до нас не дойдут». И великий князь суздальский тоже не поддавался, «хотя особь брать сотворити». А татары между тем уже прошли, все предавая огню и мечу, мордовские леса и, став станом на берегах речонки Онузы, послали в Рязань послов: двух мужей и одну жену-чародейку.

Вся Рязань высыпала на заборало<sup>39</sup>, когда дозоры принесли весть, что к городу идут послы татарские. Городские ворота накрепко заперли. И вот на снежной дороге показался большой отряд конников с длинными тонкими пиками, на которых трепались на ветру пучки конских волос...

– Гляди, гляди, ребята: баба!.. Вот истинный Бог, баба... А? – дивились рязанцы со стены на жену-чародейку.

Она сидела верхом на своем коньке так же, как и другие всадники, и узкими раскосыми глазками равнодушно оглядывала усеянное рязанцами заборало. Плоское, скуластое лицо ее было не только некрасиво, но прямо безобразно. И она внушала рязанцам суеверный страх: уж ежели хан послал ее, значит, есть в бабе что-то зловерное. И жутко стало на заборале...

В Рязань успели съехаться самые ближние князья: брат князя Олег Красный, племянники Олег и Роман Ингаровичи, Всеволод Пронский да один из молодых князей муромских. Не будь бабы этой проклятой, может быть, посольство и впустили бы в город, но она тревожила всех: впусти ее, а потом и не разделаешься. И потому было решено, что князь с подручными ему князьями и с дружиной выйдет к посольству за стены.

Затрубили трубы, широко распахнулись ворота, и князья в шубах и в рысьих прилбцах<sup>40</sup> – за ночь выпал первый снег, и было приятно холодно – в сопровождении дружинников выехали на конях за ворота. Татары загадочно молчали. Вышедший из города вместе с молодым Коловратом Плоскиня сам предложил себя в переводчики. Он рассказывал рязанцам, что

---

<sup>39</sup> Заборало, заборал – площадка наверху крепостной стены, где находились во время осады защитники крепости.

<sup>40</sup> Прилбца – меховой или кожаный подшлемник.

был взят татарами в полон на Калке и в плену наострился лопотать по-ихнему. Слово сразу взяла баба.

– Великий вождь наш, наследник великого хана, Батый, велел тебе сказывать, чтобы весь народ твой дал татарам десятину во всем: и в князьях, и в людях, и в конях... – глядя на князей своими равнодушными звериными глазками, проговорила она. – Десятое в белых конях, десятое в вороньих, десятое в бурьих, десятое в рыжих, десятое в пегих...

Князья смутились: раз сказано: десятину во всем, так на кой пес пересчитывает еще эта ведьма пегих, да вороньих, да рыжих? Что-то тут должно быть. Они смущенно молчали.

– А духовита окаянная!.. – сказал кто-то сзади. – На две сажени несет...

– Это оттого, верно, что стерво, сказывают, жрут...

– Неча сказать, достукались... – вздохнул кто-то. – Зря тогда на Калку-то мы не пошли: всем миром набили бы морды-то им косоглазье, так второй раз, глядишь, и не явились бы...

Несмотря на все слухи, враг страшным все же не показался. И томила обида, что с ними, мужами, Батый послал говорить какую-то стерву. Переглянулись. Воспрянули духом, положили руки на мечи. И князь Юрий, угадав общее настроение, проговорил:

– Передай своему Батю, что когда нас не будет, тогда он не десятину, а все возьмет...

Плоския перевел. Татары тоже переглянулись, побормотали что-то промежду собой потушенными голосами и тронули своих маленьких, злобных коньков. И на заборале загудели тревожные голоса:

– Ох, быть беде!.. Нет, а баба-то, баба-то, стерва, верхом сидит и ничего, не срамно... Неужели у них, братцы, и бабы воюют?.. Неча сказать: жожа!.. А смердит от всех их, индо голова кругом идет, – недаром, знать, погаными-то их зовут... Ну, дожили!..

Князья и воеводы собрались на совет в сенях у князя Юрия. Но ни на чем не порешили: что еще Чернигов скажет. А Чернигов молчал. Посланный туда Коловрат все уговаривал черниговцев постоять за общее дело, но те уперлись: Рязань о русском деле не думала, когда все на Калку шли головы класть. Горячий боярин бился, как в тенетах, в бесконечных разговорах и отговорах этих и в княжеском недомыслии, но ничего не выходило.

А в Рязани с каждым днем нарастал страх. Сидеть сложа руки и ждать было просто мучительно: лучше делать что-нибудь, чем ничего. Страшная Калка стояла перед глазами день и ночь, как жуткий сон, от которого надо было скорее освободиться, проснуться, забыть его. И наконец второпях было решено выступить против поганых с одними рязанскими силами.

В яркий солнечный день, когда пахучий снег играл мириадами многоцветных искр, рязанская рать выступила к реке Воронежу и, выступив, оторвавшись от стен города, смутилась: проклятая Калка не выходила из ума ни у князей, ни у воев и точно к земле всех гнула. И с каждым шагом крепла мысль войти скорее с татарами в переговоры.

– Зря мы им ответ такой дерзкий дали, – смущенно сказал князь Юрий. – Пожалуй, теперь ломаться, поганые, будут...

Повесив головы, все молчали. И еще больше смутило всех, когда, уже на Воронеже, Плоския со своими конниками ушел в разведку и – не вернулся. Не то в сече с погаными погибли, не то в полон попали, Господь ведает. И когда на снежных берегах реки был разбит русский стан, князья тотчас же собрались в шатре великого князя на совет. Те сведения, которые только что были привезены лазутчиками – «видимо-невидимо», – смутили даже смелые души. И быстро решили послать к Батю старшего сына великого князя Федора с самыми богатыми дарами. Тут было и оружие дорогое, и меха редкостные, и аксамиты бесценные из Цареграда. Феодор, бледный, поскакал пустынными лесами и полями в стан Батю. В душе его неотступно стоял образ любимой жены его, красавицы Евпраксии, и маленького сынишки, так на нее похожего: что-то теперь с ними будет? Живым вернуться в Рязань он не чаял. И те, что остались в стане, тревожились не меньше. Тайные сторонники Плоскини незаметно сеяли страх. И князь Юрий приказал выдвинуть дальше и усилить сторожевое охранение...

Батый, узнав о прибытии княжича Федора, блеснул своей белой улыбкой. Сейчас же были созданы все его воеводы, жены и приближенные, и князь Федор вошел в шатер его с богатыми дарами. Батый, развалившись, полулежал на мягких подушках. В ответ на приветствие князя он благосклонно наклонил голову. Князь смутился чрезвычайно: сзади хана стоял и смотрел на него своими большими смелыми глазами Плоския.

– Благодарим... – сказал Батый. – Но было бы лучше, если бы ты привез мне твою жену. Она, сказывают, у тебя большая красавица...

Князь Федор, бледный, сжав кулаки, бросил в плоское, ко всему на свете как будто равнодушное лицо только одно слово:

– Собака!..

Батый засмеялся, довольный, кивнул страже, и в одно мгновение князь Федор был изрублен.

– Выбросьте тело его псам... – равнодушно сказал Батый. – А вы, – обратился он к спутникам князя, – скачите домой и скажите там, как поступают татары с теми, которые не умеют держать себя перед слугами великого хана.

Из посольства князя Федора татары ясно поняли одно: Русь сознает свою слабость. И в тот же день Батый двинул свои полчища вперед. Полки поплыли, как всегда, широкой лавой, «загоном», и жуток был в тишине лесов и полей этот дробный звук бесчисленных лошадиных ног по замерзшим дорогам. Но весело трепались на длинных пиках лохматые пучки волос, точно обещая какой-то радостный праздник...

Русские сторожа в ужасе принесли в стан: идут!.. Князя быстро исполчили воев своих к бою. По своему обычаю, татары сразу охватили русскую рать со всех сторон, и началась злая сеча. Бежать было некуда. Но мысль, что будет с Рязанской землей и близкими, если они полягут тут все головами, подсказала решение: во что бы то ни стало пробиться и лететь к своим. Может быть, подойдут черниговцы, суздальцы, другие князья, а не подойдут – сердце сжалось в отчаянии, – так легче умереть со своими... Прорыв удался – и князя с уцелевшими дружинниками бросились «кийждо в свой град». Только Федор Красный, тяжело раненный, попал в руки к татарам. Батый посмотрел на истекавшего кровью князя и «дохнул огнем от мерзкого сердца своего»: спокойно приказал его тут же прикончить. Его правилом на войне всегда было ужаснуть так, чтобы при одном имени его все вокруг цепенело.

И опять широким «загоном» татары двинулись вперед, и опять этот жуткий дробный звук бесчисленных копыт наполнил белую тишину, и, слушая его, спрятавшиеся по лесным трущобам посели холодели от жуткого ужаса. Темные столпы дыма над белыми полями днем и багровые зарева по ночам указывали путь татарский. Встречные городки – Пронск, Белгород, Ижеславль, Борисоглебск... – в одном вихревом ударе брались на копье и через несколько часов превращались в груды дымящихся развалин, среди которых валялись убитые и умирающие. И надвинувшиеся с запада тучи тихо одевали все: и черные развалины, и окоченевшие трупы, и кровавый снег – белым саваном... Стаи волков сбегались на пиршество и отъедались так, что едва ходили. Воронье тучами носилось с радостно-возбужденными криками над землей Рязанской, вдруг опустевшей...

16 декабря татары подступили к Рязани и обложили ее со всех сторон. Город заперся и не сдавался. Татары, еще в Азии научившиеся брать города, сейчас же наладили огромные тараны, которые начали громить стены, и пороки<sup>41</sup>, посылавшие в город не только огромные камни, но и тяжелые бревна и пылающую, пропитанную смолой паклю. На заборале стояли рев ожесточившихся воев и женский плач. Всем смотрела смерть в глаза, и все понимали, что оставшуюся жизнь надо было считать уже только часами. Вои и горожане стояли на заборале бессменно, и у них от ужаса и усталости уже не подымались руки, а татары, по своей привычке, быстро

---

<sup>41</sup> Порок – здесь: метательная осадная машина.

сменяли штурмующие отряды, и так как азиаты видели, что город теряет последние силы, то их усилия нарастали. Казалось, что смерть для них – пустяк, о котором не стоит и думать, и души их были – один сплошной опаляющий вихрь боевого огня...

Ад продолжался пятеро суток. Еще больше встряхнуло всех ужасом, когда красавица княгиня Евпраксия, узнав о страшной смерти своего мужа, князя Федора, с маленьким сыном своим на руках на глазах всех бросилась из высокого терема на камни и оба разбились на смерть. Тайные пособники Плоскини продолжали сеять в умирающем городе страх и мутящие слухи о каких-то таинственных изменах. И когда на шестые сутки татары бросились на стены с диким воплем, от которого застыла у всех в жилах кровь, когда запылали сразу в нескольких местах подожженные ими дома и церкви, сопротивление рязанцев было сломлено, и в раскрытые изменниками ворота и прямо через залитые кровью и усеянные трупами стены, как потоп всепоглощающий, устремились полчища степняков... Большинство, оцепенев от страха, даже и не сопротивлялось, и только немногие горсточки храбрецов и просто людей иступленных, уже не понимавших, что они, собственно, делают, бились смертным боем с татарами, со всех сторон обступившими их. Спаслись удалось только очень немногим. Одним из первых благополучно «избыл татар» епископ Рязанский. Князь Роман Ингварович да молодой, раненный татарской саблей в голову Коловрат понесли на ретивых фарях своих в Володимир, чтобы известить великого князя о гибели Рязани.

«Взяша град Рязань, – рассказывает летописец, – и пожгоша весь и князя Юрия их убита и княгиню его, а иных же емше мужей и жен, и детей, и черниц и ерея – оных рассекаху мечом, а других стрелами стреляху, те в огонь вметаху, иные имаше вязаху и груди взрезаваху, и желчь вынимаху, а с иных кожу сдираху, и иным иглы и щепы за ногти забияху, и поругание черницам и попадьям и добрым женам и девицам перед матерьми и сестрами чиняху...» И когда отошли татары от города погибшего, некому было стенать и плакать...

Покончив с Рязанью, татары сейчас же двинулись кружным путем, через Москву, на Володимир. И опять этот шум их – дробный звук бесчисленных ног лошадиных, брязг оружия, чуждая речь – наполнил глубокое молчание белых полей и лесов...

И вдруг, еще недалеко от Рязани, на стоянке – татары прямо глазам своим не верили – на них ударили из лесов неведомо откуда взявшиеся русские конники. По стану победителей холодной волной пробежал ужас: откуда взялись эти вои? Уж не встали ли для мести из праха побитые рязанцы?.. И, охваченные суеверным ужасом, татары заметались. Особенный страх внушал им седой великан, который несся во главе своих конников и богатырскими ударами крушил бегущих татар направо и налево...

Это был старый Коловрат. Ничего не добившись от князей черниговских, он возвращался уже в Рязань, когда до него долетела страшная весть... Собрав все, что только можно было, воевода бросился в погоню, и, несмотря на то что у него было всего 1700 воев против полумиллионной татарской орды, он, ни мгновения не колеблясь, ударил на татар...

Началась иступленная сеча. Оправившиеся полки татарские под предводительством Таврула, шурина Батыева, окружили горсть ополоумевших русских, но точно на железную стену – стену отчаяния – наткнулись. Терять рязанцам было нечего, потеряно было уже все, и они плечом к плечу разили татар. Когда мечи отказывались им служить или не хватало стрел, они бросались за помощью к мертвым и, схватив окровавленное оружие их, снова рубились, не помня ничего, кроме одного своего желания: мстить. Таврул, видя тяжелые потери, которые несли его татары, приказал отступить и тотчас же выставил против горсти спаянных отчаянием рязанцев пороки. И в ряды рязанцев, все сокрушая, полетели огромной величины камни и бревна... Рязанцы бросились на пороки. Татары кинулись с боков на рязанцев. Таврул в вихре ярости налетел на могучего Коловрата, и тот одним ударом своего страшного меча распластал татарина почти до седла... И опять сбили татары рязанцев в плотный комок бешенства и отчаяния, и опять пороки покрыли их тучей камней и бревен. Старый Коловрат был раздавлен

тяжелым бревном, вое его дрогнули, и в бешеном шквале татары точно спалили рязанских храбрецов...

Вороны с хриплыми криками кружились над побоищем, а к ночи из лесов и оврагов повывылезли на небывалый пир волки и лисицы; полчища Батгья неудержимо текли дальше и дальше, и снова страшный, странный, подобный наступающему потоку шум наполнил русскую бездонную тишь, и темные столпы дымов днем и багровые зарева по ночам потрясли ужасом все живое...

## Злоключения отца Упира

В Володимире решительно никто не верил в возможность нашествия татар: куды их черт середь зимы, под самые морозы, понесет? Слух о взятии Рязани до володимирцев еще не долетел, и жизнь шла над Клязьмой своей обычной чередой. И отец Упирь был от всяких татар за тридевять земель. У него была одна страсть, которую он никак не мог победить, и все делали вид, что никто о ней ничего не знает. Страсть эта была – запретная для лица духовного – охота. Еще рыбкой побаловаться попу по бедности и можно, но охота, пролитие теплой крови, нет, это решительно не подобало. И вот Упирь наострился так, что шел будто бы окуньков через прорубь поблеснить, а на самом деле, откопав где-нибудь в трущобе в снегу спрятанную снасть, он бежал в леса...

Так было и теперь: сказав попадье, что идет по рыбу, Упирь ударился в леса. На этот раз охота предстояла ему не совсем обыкновенная: еще по первому снежку высмотрел он медведя, а теперь, когда тот, сукин кот, в берлоге теплой уже разоспался, Упирь решил взять его. Рогатина у него была добрая, охотничья, нож хороший, секира отточенная, – можно было померяться силами с лесным богатырем вполне, тем более что это было ему и не впервые. Оно, конечно, с товарищем каким было бы лучше, но ему, отцу духовному, с этим делом приходилось от православных прятаться. А зверь, судя по следу, был матерый...

И вот отец Упирь заложился по снежной дороге, которая лесами на Рязань бежала. Сзади него на бечевке лыжи его погромыхивали. Вправо, среди синих лесов, виднелся одинокий погост Борис-Глеба. Пройдя еще версты две, Упирь свернул направо в леса. Медведь от рязанской дороги лежал недалеко – может, с полверсты. Упирь, весь в поту, добрался осторожно до берлоги. На берлоге все было, по-видимому, благополучно, и сердце Упирия загорелось страстью охотничьей. Он оттоптал перед челом берлоги снег, чтобы тверже на ногах, в случае чего, стоять, и легонько эдак попробовал рогатиной, как зверь. Тот сразу отозвался ему недовольным рыком... Совсем не ладно было одному и будить зверя, и подымать его на рогатину, да что ты тут поделаешь? И на этот случай Упирь давно уже средство свое придумал: дымом зверя выгонять. И вот он, все осмотрев и приготовив, стал добывать огнем огонь. Загорелся трут, и дым едкий от него пошел. И сотворив молитовку на случай какого злого обстояния, отец Упирь стал, как полагается, с рогатиной перед берлогой и – бросил дымящийся трут в черную дыру, под кобель. Медведь опять взрычал. У Упирия замерло сердце: ежели зверь это настоящий, то он, выскочив, тотчас же встанет на задние лапы и пойдет на драку, но бывают ведь и такие подлецы, что как только из берлоги вылезет, так сейчас и ходу: ау, поминай как звали!.. Таких гоже собакой задерживать, но опять-таки звание духовное не позволяло ему с собаками расхаживать...

Медведь, недовольный, снова подал голос. Упирь, бледный, с рогатиной в руке ждал. И вдруг зверь бешено рывкнул – должно быть, о трут ожегся, – и в облаке холодной снежной пыли вылетел из берлоги. «Ну, Господи благослови...» – истово прошептал Упирь. Одно короткое мгновение медведь смотрел на него сердитыми, сразу налившимися кровью глазками, и вдруг с ревом поднялся на дыбы, протянул передние, с огромными когтями лапы вперед и, приложив уши и фыркая, пошел на Упирия. Тот упер рогатину древком в снег и в нужный момент ловко подставил ее прямо в грудь зверю. Медведь осерчал, рванул к Упирию с ревом, но острое холодное железо сразу вошло ему в сердце, и он тяжело рухнул на притоптанный снег. Снег покраснел. Медведь дрожал последней дрожью, а Упирь вытирал пот с просиявшего лица.

Победа Упирия была двойной: идя на берлогу, он загадал, что ежели зверя возьмет, то владыка простит ему пропажу «Слова о полку Игореве», а уйдет медведь, тогда и от владыки попадет. Владыка уже два раза вызывал его, но он все отделялся: смерть не хотелось ему отдавать книгу, а списать ежели, и время не позволяло, да и «какой он писец». В случае чего, ежели

старик очень уж вязнуть будет, можно будет ему медвежьей шкурой поклониться. Можно будет сказать, что у мужиков выменял...

Упирь снял шкуру с могучего зверя – мех был не бурый, как это большей частью бывает, а черный, просто не нагладишься!.. – вымыл снегом руки, благословясь, подкрепился, чем попадя его в путь снабдила, и, взвалив тяжелую шкуру на спину, пошел к дороге. Были уже сумерки. Но это было только лучше: никто ночью не увидит. Но только ткнулся он было в мелколесье, что на месте недавнего пожара поднялось, как сразу напоролся на лосиху с двумя телятами. Сердце Упия загорелось: неужели ж не взять? В одно мгновение подвесил он шкуру на сучок огромной сосны и за лосихой ударился. Она сразу повела на Борис-Глеба, но, недоходя погоста, свернула влево, к глухой лесной деревеньке Вошелово. Отец Упирь обрадовался: в Вошелове жил дружок его, Гаврик, пардусник, который тоже обмирал об охоте. У него можно будет и лук прихватить, а то и его самого с собой забрать. Он едва ли крещен, да чего тут больно разбирать-то? А мужик хороший, не выдаст: они уж не раз вместе в дальние леса закатывались... Лосиха шла медленно – телята мешали, – и Упирь часто видел ее в отдалении...

К темноте подбился он к Вошелову, переночевал у Гаврика, а чуть светок – тихое утро было такое, хорошее... – вместе с Гавриком они снова настигли лосиху и погнали ее уже с собакой. К полудню она окончательно выбилась из сил, и Упирь стрелой положил ее, а Гаврик, волосатый, похожий на лешего, добил секирой длинноногих телят, которые никак не хотели покинуть мертвую мать. Но когда Упирь сообразил, сколько ему теперь брести до города, он невольно заскреб в затылке: истинно, охота пуще неволи! Верст под тридцать будет – вон куды завела окаянная лосиха! Но делать было нечего. Он взвалил на себя лосиного мяса, сколько понести, распростился с Гавриком и после долгих трудов – больно уж лес тут густ был – выбился на рязанскую дорогу и – остолбенел: навстречу ему ехали какие-то конники с длинными пиками. Было их человек двенадцать. Увидев его, они вдруг загалдели что-то непонятное, и миг окружили его, обезоружили, и, связав ему назад руки, стали покрикивать на него: айда... айда... А он все головой тряс: сон ли это ему снится али наяву?

Пришли в деревню какую-то. В деревне не было ни единой души. Упирь от удивления просто прийти в себя не мог. Ежели это татары, о которых болтали, так откуда это они так сразу взялись? Но это была действительно татарская разведка, которая и захватила его в качестве «языка». Татары стали, чтобы подкормиться и отдохнуть в брошенной деревне, а наутро, чуть светок, потянули опять снежной дорогой к Рязани.

И вдруг от Рязани навстречу им показались два всадника, которые, видимо, спасаясь от погони, летели во весь дух. Это был князь Роман Ингварович и молодой Коловрат. Увидав татар, они метнулись было в лес, но истомленные кони их едва скакали по снегу, и в один миг они были окружены татарами. Коловрат с окровавленной повязкой на голове едва держался в седле и был бледен: он изнемогал от мучительной раны. Татары скалили на неожиданную добычу белые зубы и, спешившись, вязали пленников и галдели.

И вдруг опушка леса сразу ожила и зашумела голосами, и мужики, все в снегу, с топорами, рогатинами и кольями, бросились на растерявшихся от неожиданности татар. Пока они старались вскочить на перепуганных, вертящихся лошадей, мужики дробили им секирами головы и кольями отбивались от ударов язвительных татарских сабель.

– Хорек, Хорек!.. Мишка!.. Да вы ноги-то, ноги-то лошадям подрубайте... – взволнованно кричал какой-то худенький старик. – По ногам-то, по ногам-то... Вот эдак!..

Он повалил татарина вместе с конем, но тут же, получив удар саблей в голову, и сам сунулся носом в снег. Мужики, остервенившись, еще злее взялись за татар. Дело было кончено быстро: десятеро татар валялись на окровавленном снегу, а двое вихрем уносились к Рязани. Молодой Коловрат без кровинки в лице лежал на снегу. Из головы его тихо сочилась кровь.

– Ушли двое, стервецы... – гомонили мужики. – Того и гляди, со своими воротятся. Теперь, братцы, ничего нам не остается, как запалить деревню, да и в крепь... Тут у нас такие места есть, днем с огнем не сыщешь... Мы баб своих с ребятами там попрятали...

И оставив в засаде двоих парней с рогатинами для наблюдения за дорогой, все медленно потянулись лесом во мхи по направлению к Исехре. Коловрата несли на носилках из еловых ветвей. Он был бледен, как мертвый, и тихонько стонал, и бредил... Упирь от неожиданности все еще никак не мог прийти в себя и, повесив буйную голову, шагал вслед за мужиками во мхи. Надо будет попытаться пробраться домой уже не рязанской дорогой, а лесами. Попасть второй раз в руки поганым ему не улыбалось... И все вздыхали и крутили головами: дожили, неча сказать!..

## Встреча

Бывший на базаре в Володимире Иванко Стражка, отец Настенки, наслушался на торгу толков народа про татар. Осторожный и толковый мужик, он хорошо знал, что базарная болтовня всегда сделает из комара медведя, но тем не менее все же призадумался маленько: как бы чего не вышло. И первое, что он, въехав в околицу Буланова, увидел, была тревожная сходка посреди белой улицы. Оказалось, что сосед его, Гришак, скупавший по округе кожи для городских торговых, ездил в сторону рязанской дороги и напоролся там на татар, которые вели на веревке батюшку от Миколы Мокрого, отца Упирия, его знакольца. Он сам успел спрятаться, и татары не заметили его. Иванко подтвердил, что и в городе говорят негоже. Тревога сразу охватила деревню. Бабы заголосили. А ночью над лесами к рязанской дороге занялось, да сразу в трех местах, багровое зловещее зарево...

И охваченная страхом перед неведомым и страшным врагом, деревня вдруг снялась с места и потянулась в лесные трущобы. Соседи-мещеры, как всегда замкнутые, проводили булановцев косыми взглядами, но сами с места не тронулись и бормотали что-то на своем непонятном языке...

– А эти дьяволы чего еще дожидаться тут будут? – толковали про себя булановцы, шагая за санями, в которых навален был всякий скарб, а поверх сидели ребята, довольные неожиданной переменой и поездкой. – Беспременно унюхали чего-нибудь белоглазые!.. Как бы они на наш след не навели поганных-то... Ох, бабоньки, и что это только теперя с нами будет, головушка ты моя победная!..

Булановцы и сами толком не знали еще, куда это они собрались. И уже дорогой, видя, как зябнут ребятки, как мучается по снежным дорогам и беспокоится ничего не понимающая скотина, они решили пока что далеко не забираться. Да тревожила и думка о покинутых дворах: мещера, черти, возьмет да и запалит из озорства... И, посудив порядком и так и эдак, они решили спрятаться от беды пока что на Исехре. Место болотистое, крепкое, дремучее, – авось не полезут... А для пропитания там и зверя всякого много, и рыба в озерах есть хорошая – кроме Исехры было там еще недалеко другое озеро, Котлино, которое с Исехрой речкой Бужей соединялось... И на их счастье, вьюга стала разыгрываться – так следы заметет, что и свой не найдет...

С большой нужей пробившись они снежными лесами на берег Исехры. Гладкая, белая поверхность огромного озера вся была исписана лесными письменами: тут вот лоси прошли, тут стая волков кружилась, там набродили узорно глухари, тетерева, рябцы, белые куропатки, там белки играли, там куница прошла, там заяц напетлял на заре... Булановцы, тревожно галдя, выбрали невысокий песчаный бугор на той стороне, поросший заоблачными соснами, и сейчас же взялись землянки рыть. И как только пробрили верхний, мерзлый слой земли, корку, так работа пошла в сыпучем золотом песке так споро, что к ночи почти все забились уже в свои норы. А остальные пожары великие разложили, и дремали около них всю долгую зимнюю ночь, слушая тягучую переключку волков по болотам Бужи...

С утра опять работа закипела: надо было доводить начатые постройки до конца. Часть молодежи в леса ударилась: кляпцы на птицу и зверя ставить. Некоторые пробивали на озере лед, чтобы рыбой заняться. И сизый дымок из землянок, поднимавшийся среди золотых стволов старых сосен, придавал поселку обжитой, уютный вид. «Ничего, гоже... – говорили булановцы, подбадривая один другого. – Проживем как ни то...» Но ночью ребята залезли на сосны и снова увидели вдаль, к рязанской дороге, страшные зарева. И опять темная тревога полонила сердца... Но среди лесных великанов гудел разыгравшийся ветер, сухо шелестела вьюга, и от пробитой булановцами дороги не оставалось и званья.

Так прошло несколько дней. И вдруг как-то под вечер, когда над лесом полыхал багровый – к морозу – закат и все вокруг, и леса, и озеро, и облака, было огненно-красное, среди глубокой тишины зимнего леса послышалось вдруг вдали звонкое ржание коня. Булановские лошаденки, скукожившиеся под навесами из еловых ветвей от холода, отозвались на зов. И из лесу снова донеслось тонкое и звонкое ржание коня...

– Пресвятая Богородица, Матушка... Спаси и сохрани... – истоиво зашептали корявые губы. – Господи-батюшка... Флора и Лавра... Микола, угодник Божий...

В звонкой тишине леса послышались голоса. Мужики заметались, как зайцы в тенетах. Одни хватались за секиры, другие за колья, третьи над своими тупыми ножами головами качали: ведь вот сколько разов поточить собирался! Бабы давились слезами и загоняли ребят в землянки. А те тарасили на все круглые от страха глазенки... И вот из молодого ельника-подседа на гладкую поверхность озера выдрались вдруг несколько человек пеших и конных с бабами и детьми. Лошади от инея были кудрявые, и стоял над ними в морозном воздухе пар столбом. Люди вытирали рукавами потные лица. И сразу все воззрились на новоявленный поселок. Булановцы отутобели: слава Богу, свои!.. И все население поселка устремилось к ним навстречу...

– Здорово!.. Откуда будете? Чьи?..

Это были мужики с рязанской дороги, отец Упирь, князь Роман и ничего не видевший и не слышавший – он был без памяти – Коловрат со своей кровавой повязкой на голове. Бабы, подпирая подбородки рукой, жалостливо качали над ним головами:

– Молоденький какой!.. Да и пригожий... Ишь, как зарубили поганые человека... И что же это, бабоньки, нам теперя будет?!

И вдруг раздался крик острого страдания, и Настенка, вся побелев, бросилась к раненому: он, тот, которого она видела и во сне и наяву, он все-таки вот явился к ней теперь – не в сиянии солнечном, как тут же, на озере, видела она его осенью, не в ладье золотой, белокрылой, не такой, каким видела она его среди звезд на покосе в пойме клязьменской, а исходящий кровью, ничего не видящий и не слышащий, может быть, готовящийся Богу душу отдать... И она забила над ним, у еловых носилок, как подстреленная птица...

– Да что ты, девка?! Чего ты так напужалась?.. Али что?.. – заговорили бабы, с недоумением глядя на Настенку. – Кто он?

– Не знаю... – едва понимая, что она говорит, лепетала красавица. – Я недавно в Володимире его видела на дворе князем: он гонцом, сказывали, от рязанского князя приезжал к князю Егорию...

– Дак што тебе больно убиваться-то? – все дивились бабы. – Мало ли чего с кем бывает?.. Чудная ты девка!..

Некоторые, похитрее, почуяли, в чем тут дело. Но заниматься пересудами было неколи. Надо было земляков подкормить, разместить их на первую ночь как-то: ночь должна была быть морозная. На Буже волки уже выли. И вызвездило так, что все небо огнями разноцветными горело и переливалось, прямо не нагладишься.

Князю Роману наспех вырыли отдельную землянку. Раненого Коловрата – так подвела Настенка через баушку Марфу – взяли они к себе: у них было попросторнее да и маленько почище. И мука, и счастье терзали молодое сердце немилосердно. Мужики, галдя, размещали по другим землянкам ребят и стариков, а сами с отцом Упирем пожары на ночь готовили.

Коловрат весь горел и все тихонько бредил. Все тупо, с состраданием глядели на него. Как помочь ему, никто не знал.

– Надо будет завтра по утру сбегать в Раменье – тут не больно далеко – привести колдуна ихнего: может, он средство какое даст... – подсказал кто-то.

Все одобрили.

– Не пойдет, пожалуй, – усумнился Иванко. – Он не любит которые из княжья-то...

– Ну, не пойдет... – возразила баушка. – Пойдет... Ты погляди, одежда-то на нем какая: озолотит, в случае чего! Нет, надо будет Ондрейку утром послать. Только наказать надо, чтобы с оглядкой шел, не зря...

Нахлебавшись гречневой похлебки с заячиной и луком, все, позевывая, улеглись спать. Посреди землянки золотисто рдел огонь, и тоненькая, нежная струйка дыма убежала в волоковое отверстие вверху, в которое по очереди заглядывали звезды. Было тепло и не душно. Но раненый все стонал, и Настенка, себя не чуя, неотрывно сидела около него.

– Баушка, а что ежели бы ему на голову снежку положить, а? – спросила она.

– Дак что, попробуй... – позевывая, отвечала баушка. – Вреда от снегу не будет. А оно, может, и оттянет...

И Настенка дрожащими руками, вся смятение, принесла чистого снегу и осторожно положила его на пылающую голову. От снега упоительно пахло морозом и хвоей. И сразу раненый затих... И вокруг все было тихо – только сипели слегка в огне дрова да вдали, на Буже, волки выли. Под навесами храпели на зверя лошади и все с ноги на ногу переступали. Сердце Настенки колотилось так, что она ничего, кроме него, не слышала...

И вдруг Коловрат слегка пошевелился и раскрыл глаза. Ничего не понимая, он обвел взором закопченный уже потолок из жердей и хвои, осмотрел все вокруг и остановил свои глаза на розово-золотистом от огня лице обомлевшей Настенки. Она была ни жива ни мертва. И стало в глазах его милых точно светать. Он видел, он узнавал ее, но не верил себе. Он не знал, сон это, как и прежде, – он то и дело видел ее во сне, – или на этот раз явь. И робкая улыбка засияла на его истомленном лице, а из голубых глаз Настенки вдруг брызнули слезы сумасшедшей радости. Но она не смела и пошевелиться. А он сиял все более и более и слабым жестом протянул к ней руки. И Настенка упала на колени около ложа его и, забыв о баушке Марфе, которая дремала над огнем, осторожно положила ему на руку свою белокурую, побежденную голову... И он другой рукой нежно-нежно провел по ее тонким, как лен, волосам...

Все было сказано – без слов. Оба изнемогали от нестерпимого счастья. Говорить не было сил ни у того ни у другого. Да и баушки опасаться надо было. Другие уже храпели под духовитыми тулупами. И в тревоге Настенка подняла голову и зацеловала милый лик глазами.

– Полегче тебе? – тихонько спросила она.

– Легче... – едва выговорил он и опять просиял своей детски-слабой улыбкой. – Спасибо...

– Али очухался маленько? – обернулась баушка. – Ну, вот и гоже. Может, поешь чего, касатик? Я нарочно похлебки для тебя покинула...

– Ничего не хочу, спасибо... – едва прошелестел он и, взяв руку Настенки, вновь, блаженный, закрыл глаза. – Все хорошо...

– А ты все лучше поел бы... – настаивала баушка. – Бог силы тогда и пошлет...

Но он не отвечал. Настенка была вся глаза. Она выпросила у баушки чистый ручник и обложила им голову так, чтобы таявший снег не мочил изголовья. И когда хотела выпростать руку свою, чтобы он уснул, она почувствовала, что он легонько удерживает ее. И она изнемогала от невероятного счастья: она уже его...

– Ложилась бы ты, девка... – сказала баушка, зевая. – Всю ночь эдак не просидишь... А я поблюду его...

– Ну, поблюду... – усмехнулась Настенка, вся нежность. – Ты уж и сейчас наполовину спишь... Ложись-ка, а я посижу...

– И то, девка... Разморило меня что-то... – отвечала баушка, довольная. – Посиди, коли так... Что-то устала я без дела-то. Да и скучно все как-то. Цела ли уж изба-то наша в Булановке?..

– Ну что ей сделается... – сказала Настенка, радостная: она всю ночь, до свету, будет одна с ненаглядным своим! – Ложись, ложись давай, баушка...

– А ты, гляди, не забудь подбросить дровец потом, а то ночь-то студена будет...

Баушка улеглась на еловых ветвях, покрылась с головкой тулупом и сразу забылась. В землянке шел храп на все лады. Снаружи ворожила железная, лесная ночь. Лошади, чуя волков, все беспокоились. Звездочки, шевеля усиками, по очереди все заглядывали в волоковое оконце... А она, затаившись, слушала тихое, ровное дыхание ненаглядного и опять, чтобы он спал спокойнее, тихонько протянула руку. Но он испуганно ухватился за нее и не отпускал. И раскрыл глаза.

– Не уходи... – нежно прошептал он.

– Любый... – задохнулась она от счастья. – Золотце... Солнце мое... С того самого дня – помнишь, на перевозе? – только о тебе я и тосковала. И все мучилась: что тебе, боярину, я, крестьянская девка?..

– Ты царица моя... – горячо шепнул он, и глаза его засияли в огнистом сумраке. – Без тебя мне жизнь не в жизнь... Ах, только бы встать поскорее...

– Встанешь, любый, встанешь скоро... – прижалась она лицом к горячей руке его. – И теперь я уж не потеряю тебя больше... Куды ты, туды и я, полонянка твоя, чага...<sup>42</sup> Ты помнишь: ты поглядел тогда на меня, на перевозе, а я, дура, нахмурилась и отвернулась, помнишь? Это потому только было, что сразу ты взял в полон меня, в одном взгляде, и я вся перепугалась...

– Светик ты мой...

И опять он закрыл глаза и не отпускал ее. На лице его было блаженное выражение. И звезды небесные все заглядывали любопытно в волоковое оконце<sup>43</sup>, и видели все то же: сладкую сказку любви земной...

Табор поднялся, как всегда, затемно. Князь Роман решил так или иначе пробраться в Володимир. Упирь взялся проводить его: ему вдруг что-то страшно стало за попадью свою. Он заметил, как красавица мечтаний его вилась душой над молодым Коловратом, и это было горько ему. Но все же и попадья – попадья, говорить тут ничего не приходится... А новые посели уже ладили себе луговища: кто знает, долго ли все это протянется?.. И усталая, но блаженная Настенка уговаривала Ондрейку, брата, ловкого пардусника:

– Сбегай скорей на лыжах в Раменье, к ведуну, братик... Ты скажи ему, чтобы поспешал как можно... А ежели в Раменье народу уже нет, ушли, как и мы же, в крепы, так ты добейся, куда ушли, и приведи старика... Так и скажи, что озолотит, мол...

Ондрейка, статный, ловкий паренек, с чуть пробивающимися золотыми усиками, внимательно поглядел на сестру своими мягкими голубыми глазами и что-то понял. Но он не хотел показать этого.

– Сказал, приведу – и приведу... – строго отвечал он. – Чего же еще тебе?..

– Да ты только поскорее!.. На рану и взглянуть страшно...

– Одна нога здесь, другая там... – улыбнулся он и в улыбке открыл, что он все понимает и что сестра на него положиться может.

И она вся сразу согрелась.

Перед отъездом с Упирем князь Роман – красивый, широкоплечий молодец с жгучим румянцем во всю щеку и черными усиками – отсыпал Стражке золота и сказал:

– Смотри: как можно береги дружинника моего... А я потом награжу вас... Ежели в Володимире все слава Богу, я скоро вернусь. Смотри же! В накладе не будешь..

И Иванко, и баушка, и все посели только кланялись в пояс: ничего не опасайся, княже, – чай, крещеные тоже...

---

<sup>42</sup> Невольница.

<sup>43</sup> Волоковое окно – небольшое окно в бревенчатом строении. Высота такого окна не превышала двух бревен сруба.

– И землянку ему отдельную выройте, чтобы попросторнее ему было... – говорил князь и, улучив удобную минутку, шепнул Настенке: – Вижу, вижу, что дружка моего тут не покинут. А? Как, красавица, скажешь?..

Та вся, как зорька, так и вспыхнула и с улыбкой счастья – которую она и не хотела скрывать – сияющими глазами посмотрела на князя. Он ласково улыбнулся красавице и, вскочив на коня, в сопровождении встревоженного Упия скрылся в лесу...

## Лесная сказка

Ондрейка привел-таки колдуна. Это был белый, весь в волосах, необычайно живой и подвижный старик. Из зарослей лица его виднелся только кончик его облупившегося от мороза носа да два теплых уголька глаз. Он все время что-то бормотал и усмехался.

Его обступили было посели с любопытством и страхованием немалым, но он недовольно забормотал:

– Ну-ну, разинули рты-то!.. Кажи, где у вас тут больной-то?

Иванко сам повел его к Коловрату, но у входа в землянку вдруг нерешительно остановил колдуна.

– А ты... того... не сотворишь какого зла ему, дедушка? – пробормотал он. – Потому сказывают, что ты будто не любишь которые из бояр... Да и крещеных будто не жалуешь, а?..

Старик одну минуту смотрел на него насмешливо из зарослей своими угольками.

– Ну и дурак народ!.. – живо пробормотал он. – Ну что ты с таким народом делать будешь, а? Ну где он тут у тебя, показывай живо, а то осерчаю и сейчас уйду...

Коловрат лежал в легком забытии. Почувствовав на лице дуновение холодного воздуха от раскрытой дверки, он открыл глаза. Старик быстро подошел к нему.

– Ну, что у тебя тут, боярин? Показывай... Саблей?.. Так-так... Все ершитесь, все деретесь. Ваше дело, ваше дело... Ничего, не бойся, я легонько... Так-так... – бормотал он, разглядывая своими угольками рану. – Ишь ты, и крест носишь... – усмехнулся он, увидав на шее боярина крест на золотой цепочке.

– А что? Разве он тебе мешать будет?.. – слабо улыбнулся Коловрат, которому старик сразу понравился. – Можно пока что и снять...

– Зачем снять? Коли тешит, так хошь еще сотню надень... – бормотал тот, все разглядывая рану. – Мне это без надобности, а ты – как знаешь... Ну, вот что... – живо обернулся он к Иванко. – Тебе тут слушать нечего, не твое это дело, – ступай пока куды в другое место. Нет, а ты останься, – удержал он Настенку. – Я тебе боярина препоручу... Уходи-уходи...

И когда Стражка вышел, старик порылся в лыковом кошеле своем, вытащил оттуда глиняную бутылку, оттолкнул деревянную пробку и стал осторожно смачивать из нее рану. В бутылке была какая-то мутноватая жидкость, в которой плавали травинки. И старик все шептал что-то, все шептал, и волосатое лицо его было строго-любовно, и нос смешно выглядывал из белых зарослей.

– Ну так-то вот... – сказал он. – Кто тут за тобой ходит? Девка? Ну, слушай, девка... Эту вот бутылку я оставлю тебе, а ты каждый день по зорям легонько из нее рану смачивай – легонько, поняла? Ну и вот... И никак не допускай, чтобы кто над ним какие там хитрости-мудрости выделявал... – сердито закричал он. – Я знаю, у вас, у мужиков, это первое дело: мудрить. Сам ничего не знает, а мудрит... Ну вот... только всего и делов...

– А ты еще не побываешь, дедушка? – робко сказала Настенка.

– Никакой надобности нету... – сказал старик. – В три дня рану затянет начисто. А там только поправляться надо будет полегоньку... Только всего и делов...

– А может, ты все же лучше побываешь, дедушка?.. – дрожайшим голосом проговорила Настенка. – Побывай, родимый...

Старик зорко посмотрел на нее своими угольками.

Она зарумянилась.

– Коли тебе говорят, что надобности нету, так чего ж тебе еще? – сказал он. – Ты только слушай, что тебе сказано: на каждой зорьке, помаленьку... Вот. Только всего и делов... Ну, боярин, как тебе?

– Посвежее как-то в голове стало... – сказал Коловрат. – И боль полегче...

– А твоя заботница, вишь, боится... – усмехнулся старик. – Ну, прощай покуда, боярин... Выздоровливай. А там опять за саблю... Эхма-хма-хма...

– Погоди, дедушка: я отблагодарить тебя хочу... – остановил его Коловрат. – Настенька, подай-ка мне мой...

– Брось, не надо... – остановил его старик. – Благодарю Того, который повыше меня, а я только холоп Его... А ежели у тебя лишнего золота много, так тем отдай, у кого нужда... А мне ничего не надобно: я сам себе боярин. Ну, прощай, родимый... Ничего...

И он быстро вышел из землянки. Бабы сразу обступили его: у одной в жилу вступило, у другой – под ложечкой сосет, у третьей – в ногах ломота...

– Ну-ну, вы, сороки!.. – строго-шутливо прикрикнул на них старик. – Пососет и перестанет. Я пользую таких, которые вправду, как ваш боярин, хворают. А ежели у тебя свербит где, перетерпи, и все тут: посвербит и перестанет. Как я парнем был, николи у меня в поясице не болело, – усмехнулся он, – а теперь иной раз и не разогнешься. А терплю. И вы потерпите. Человеку без скорбей нельзя...

И он, кивнув разочарованным бабам лисьим малахаем, быстро вскочил на лыжи и побежал лесом. И по всему видно было, что в поясице его на этот раз все в порядке было...

– Ну и шустрый старик, бабоньки!.. – удивлялись бабы. – Ну точно вот воробей на застрехе... А говорили, страшный... А он ничего себе старик...

– Но?... – бросил Ондрейка насмешливо. – А в Вошелове сказывали, он, осерчавши, всех баб перекусал...

Бабы с недоверием посмотрели на него. Но, видя, что он улыбается, осерчали:

– Ишь ты, тожа!.. На губах молоко еще не обсохло, а он туда же...

А в землянке Коловрата – он был перенесен уже в свою землянку, попросторнее, – тихо плакала Настенька.

– Батюшка бранится, что я все с тобой сижу, любый... Не подобает так девке, бает... Чего ты-де над ним все липишь?... Пуцай, бает, баушка Марфа с ним посидит: она и про божественное ему расскажет, – сквозь слезы улыбнулась она, – и все такое. А девке негоже – соседи смеяться будут...

– Позови ко мне старика, милая... – сказал Коловрат.

– А что тебе? – насторожилась Настенька. – Ты бы лучше не говорил ему ничего, родимый...

– Не бойся, не бойся, позови...

Настенька, накинув на один рукав шубейку, выбежала и скоро вернулась с отцом. Коловрат взял ее за руку. Она, удивленная, зарумянилась.

– Иванко... – слабым голосом сказал Коловрат. – Ты, слышал я, выговаривал Насте, что она все у меня сидит. Не тревожься: худа не будет. Ежели Бог приведет, я встану, то я... и совсем ее у тебя отниму... – вдруг улыбнулся он.

– Я что-то в толк не возьму, боярин, что ты молвил... – сказал он.

– Настя уже пообещалась женой мне быть... – сказал Коловрат, сжав вдруг задрожавшую руку девушки. – И ты уж не замай ее. Жаль вот, попа-то мы упустили... Ну, ничего, другого найдем... Пуцай баушка про божественное мне рассказывает, – опять улыбнулся он, – это я тоже люблю. Но и Настю ты уж не замай...

Стражка просто ушам своим не верил.

– Да ты шутишь, боярин... – едва выговорил он.

– Такими делами не шутят... – отвечал Коловрат. – Ежели встану...

– Да не говори ты так!.. – страстно перебила его Настя. – Почему ты не встанешь?..

– ...будет Настя моей женой перед Богом и перед людьми... – с улыбкой ей закончил больной. – Без нее от вас из лесу я больше уж не уеду... Тут судьба, суд Божий...

В те далекие времена люди мудро считали брак судом Божиим.

Стражка, совершенно очумев, вышел из землянки. Он никак не мог поверить тому, что слышал: боярин, и вдруг на его Настенке жениться хочет... Ни домашним, ни соседям он не сказал о том ни слова, и даже Насте насторого запретил болтать об этом, чтобы потом смеху не вышло... И он все слонялся по поселку, как чумовой...

Настенка по облакам летала. Не верила Коловрату и она. Да и было ей это все равно: свистнет он, и она, недавно еще неприступная красавица, недотрога, собачонкой за конем его побежит. И звенел в землянке серебристый голосок ее и смех счастливый...

Но сам Коловрат настоял, чтобы к нему заживали и другие: не закрыть любимую было бы жестоко. Чаще всех сидела теперь у него вместе с Настенкой подружка ее Анка, которую все со смехом иначе и не звали, как Анка Бешеная: если Анка кого любила, то до изнеможения, а если ненавидела, так до дрожи, до судорог. Середины она не знала ни в чем и огневой душой своей всегда ходила по краям пропастей. Но соблюдала себя в чистоте. Черненькая, стройная, гибкая, как тростинка, она своими огневыми глазами сводила с ума всех. Хохотушка и озорница она была чрезвычайная, и, как только появлялась с прялкой в землянке, так там начиналось веселье, и смехи, и хаханьки: и под грозой цветут цветы. А то придет с гребнем баушка, и в то время, как дремотно шуршит в руках ее веретено, все толще и толще обвиваясь ниткой серой, она рассказывает боярину о своих хождениях по святыне.

– И-и, мой батюшка!.. – говорила она каким-то особенно-певучим голосом, в котором звучало умиление. – Чего-чего там в Киеве-то не насмотришься, чего только не наслушаешься!.. Недаром он, знать, мать городов русских зовется. Уж и воистину мать!.. И боле всего любила я по пещерам тамошним ходить, где угодники Господни за нас, грешных, за мир крещеный Богу молили и где теперь мощи их честные почивают... Вот уж воистину святое место!.. У одного черноризца был там духовный сын из молодых монахов. Снаружи-то он святошей был, а втайне и скором ел, и пил, и на всякий другой грех тянуло его. И вот помер он, и от тела его пошел такой смрад, что никому терпенья не было. И решила братия выбросить его из пещеры, в которой он был погребен, вон. И вдруг к духовному отцу его явился в видении преподобный Антоний, явился да и говорит, что по молитве его смрада от грешника больше не будет и что Господь простит усопшему все грехи его. «Я, – говорит это преподобный, – обет такой дал, что всякий, который положен в монастыре моем, обязательно помилован будет...» И верно: смрад от тела грешника перестал, и братия через то узнала, что и его Господь помиловал. Вон ведь место-то какое!.. Да и диво ли? Что ни шаг, то святыня, что ни шаг, то такой подвижник покоится, что только диву даешься, как такие люди на земле бывают... И не токмо что из простого звания только, а и из князей. Был там, к примеру, князь Святоша, который еще молодым постригся там в чернецы. И неисходно прожил он в святой обители больше тридцати лет в великой бедности, то поваром, то вратарем, и проводил свое время в молитве постоянной и в посте. И за то Господь еще при жизни удостоил его дара чудотворения и прозрения... А ежели который черноризец эдак маленько собьется, то сейчас же сила Господня является и наводит его на путь истинный, и все к лучшему устрояется. Вот раз было, постригся там богатея один, по прозвищу Еразма, и все великое богатство свое употребил на окование святых икон окладами драгоценными. Дошел же до нищеты, он заместо почестей за великие дары свои, начал быть пренебрегаем от монахов. По внушению дьявола стал он отчаиваться, что не получит вечной награды за истраченное богатство, потому что истратил-де его не на нищих, а на иконы. И пришел он в уныние и стал не радеть о житии своем и проводить дни свои в бесчинстве. Но вот, наконец того, заболел он, и явились к нему Феодосий и Антоний преподобные и сама Матушка Божья Матерь. И сказали ему старцы, что по молитве их дает ему Господь время покаяться, а Божья Мать сказала, что за то, что ты возвеличил-де иконами церкву Мою, я прославлю тебя в царстве Сына Моего. После сего исповедал он пред всеми грехи свои, принял схиму и скончался с миром... А то раз так было, что черноризец Арефа, имея большое богатство, был скуп, так скуп, что и себя самого голодом все морил. И вот воры ночью покрали

все его богатство, и впал он от того в великое отчаяние и не хотел слышать никаких увещаний и утешений братии. Но Господь, жалея спасения его, вразумил его: послал ему в видении ангелов и этих... ну... нечистых, тьфу!.. Он покаялся, и тогда Господь велел ангелам вписать пропавшее серебро в милостыню – как будто он нищим все богатство свое роздал. Да что, батюшка, кормилец ты мой: иной раз сами бесы свидетельствовали о подвижниках тамошних!.. Вот как раз было там дело. Черноризец Лаврентий пожелал удалиться в затвор, а игумен разрешения ему на то не дал: там самовольно ничего делать не полагается, а все с благословения. Лаврентий осерчал и перешел в другой монастырь. За крепкое житие Господь даровал ему силу исцелять. Однажды он никак не мог изгнать беса из приведенного к нему бесноватого. Он послал больного в Печерский монастырь, и там бес покинул больного, а как выходил он из него, так засвидетельствовал, что в Печерском монастыре есть целых тридцать черноризцев, которые могут изгнать его одним словом... Вон ведь как!.. А то раз...

Настенка тихонько толкнула баушку, которая вся ушла в свои сказания, и показала ей глазами на больного: Коловрат сладко спал, и на лице его, уже окрасившемся красками жизни, был такой мир, такое глубокое счастье, что Настенка глаз от него оторвать не могла... Она почувствовала, что милый ее спасен, и из глаз ее покатались тихие слезы бездонного счастья. И она решила, что, как только милый встанет совсем, она пойдет в Раменье, чтобы поклониться старому колдуну в ножки...

## Потоп

Суздальцы могли сообщаться с Рязанью глухим проселком, который редкими селениями шел лесами прямо на Рязань. В ненастье эта дорога была очень блага – «благой», по-суздальски, значило дурной, опасный, – да иной раз тут и бродники пошаливали, поленица удалая. Настоящая же, большая дорога из Рязани в Володимир шла через Коломну и Москву, но была значительно длиннее. Батый, испепелив Рязань, широким «загоном» двинулся на Володимир, причем главные силы его были отправлены обходной дорогой, на Коломну. Князь Георгий проснулся наконец, спешно собрал свои полки и двинул их к Коломне. Во главе рати он поставил своего сына Всеволода и старого воеводу Еремея Глебыча. Настроение суздальской рати было подавленное: дозоры, сами охваченные ужасом, непрерывно доносили, что татар идет видимо-невидимо. В самом деле, жуткий гомон кровавой, дикой лавины этой, растянувшейся на многие десятки верст, был слышен далеко вперед, и бесчисленное воронье, провожавшее рать, наводило ужас даже на привычных. Другой суздальский отряд, которым начальствовал княжич Володимир с воеводой Филиппом Нянькой, занял в ожидании врагов Москву, крошечный городок среди дремучих лесов, на холме, над быстрой речкой Москвой.

Ощетинившись бесчисленными пиками, в глухом, непрерывном, страшном шуме, темная туча татар надвинулась на Коломну и прижала почти без всякого усилия, одной массой своей, отборное суздальское войско к надолбам городка. В вихрях дикого воя и криков, среди потоков крови, прежде всех пал воевода Еремей, потом рязанский князь Роман, дружок молодого Коловрата, и много мужей добрых, а княжич Всеволод побежал лесами на Володимир. Все пограбив, взяв большой полон и предав остальное огню и мечу, татары двинулись на Москву. После бешеной схватки под ее стенами и на стенах запылала и Москва. Воевода Нянька был убит. Княжич Володимир попал в плен. Город был разграблен, а жители, не успевшие спрятаться по лесам, были перебиты. И татары повернули на восток – прямо на стольный град Володимир.

Охваченный ужасом перед тем, что он наделал не только над соседней Рязанью, но и над своей землей, князь Георгий поскакал с племянниками своими на Волгу собирать воев. В Володимире он оставил двух молоденьких сыновей, Всеволода и Мстислава, с воеводой Петром Ослядюковичем. По дороге он присоединил к себе трех племянников, князей ростовских, с их ополчением. Но что была вся эта ничтожная горсточка людей в сравнении с грозными силами Батыя, который вел за собой полумиллионную, связанную железной дисциплиной рать? Вокруг все оцепенело в ужасе. Не оцепенел только епископ Ростовский Кирилл: он спешно укладывал свои богатства на подводы, чтобы, как и епископ Рязанский, «избыть татар». А когда епископа упрекали, что нельзя же бросать так в беде свое духовное стадо, он, брызгая слюнями, зло огрызнулся:

– А ежели нас, епископов, всех перебьют, откуда станет брать иереев земля Суздальская?!

Перед таким соображением должны были замолчать все. Но все же лица паствы были сумрачны...

Берегом Волги, собирая повсюду все, что можно, князь Георгий прошел почти к самой грани своего княжества и остановился на берегу Сити, правого притока тихой лесной Мологи, чтобы подождать здесь, среди непролазных снегов, подхода дружин братьев своих, Святослава Юрьевского и Ярослава Переяславского. Полетели гонцы в Великий Новгород, в Киев, в Полоцк, в Смоленск, всюду: князь окончательно проснулся. Но рать его, заносимая январскими метелями, неделями не раздевавшаяся и немывшаяся, съедаемая вшами, болела и гибла...

И вдруг 3 февраля – было солнечное радостное утро, первая робкая улыбка еще далекой весны – володимирцы, уже знавшие от дозоров о приближении Батыя, увидели со стен дымы

пожаров, а потом услышали и этот страшный отдаленный шум, подобный шуму наступающего моря. Золотые ворота, от которых начиналась московская дорога, были наглухо заперты. Попы служили по церквам молебны. Все вои стояли по стенам в полном вооружении. И большинство жителей было там, бледные, не отрывающие больших, полных ужаса глаз от белых пустынных полей, над которыми тучами вились вороньи стаи, то припадая к самой земле, то взмывая в атласно-голубое небо...

И вот показалась вдали страшная, ровно шумящая лавина. Еще немного, стали видны отдельные всадники, и вскоре, все заливая, татарское море охватило Володимир со всех сторон. Скрип телег, ржание коней, крики поганых, рев никогда володимирцами невиданных и потому страшных, верблюдов, нетерпеливое карканье воронья – все это сливалось в один непрерывный, дикий звук, от которого леденела душа...

К Золотым воротам подъехало несколько всадников.

– Эй, там!.. – крикнул кто-то из отряда на стену на русском языке. – Отпирайте ворота...

Со стен полетело несколько стрел. Один татарин свалился с коня. Остальные быстро отпрянули назад, и двое из них понеслись к войску, ставшему в некотором отдалении. Через немного времени они вернулись, ведя на аркане какого-то полоняника. Они выставили перед собой оборванного, изможденного человека с измазанным кровью лицом.

– Узнаете? – крикнул снизу опять тот же голос на стены. – Это ваш княжич Володимир...

На стене раздались вдруг рыдания: то заплакала молоденькая, тоненькая княгиня, жена Володимира, только недавно с ним обвенчанная. Братья пленника, Всеволод и Мстислав, румяные, крепкие юнцы, заметались по заборалу.

– Воевода, прикажи отворить ворота и ударить на поганых... – насели они жарко на Петра Ослядюковича. – Как же можно оставить брата в руках татар? Лучше умереть, чем воли быти поганых...

Старый воин только печально усмехнулся и показал на стан татарский, который покрыл собой всю Студеную гору.

– Немысленное это дело, княжичи... – вздохнул он, истово перекрестился и крикнул воям: – Ну-ка, отпугните мне это воронье...

Со стен полетели стрелы...

Снизу ответили крепким ругательством. И татары, волоча за собой на аркане измученного и обессилевшего княжича, отъехали к стану...

И тотчас же закипели там приготовления к осаде: разбивались шатры, для скота налаживали «загоны», а на Студеной горе уже взялись ладить тараны и пороки. По городу от слез и рыданий просто стон стоял. И епископ Митрофан, исхудавший за эти страшные дни ожидания, дни, полные самых зловещих слухов, ходил среди смятенных толп и увещевал перепуганных и уже отчаявшихся.

– Не убоимся смерти, чада, не примем себе во ум сего пленного и скоро минующего жития, – говорил он, – но о том нескоро минующем житее попечемся, еже со ангелы жити... Поручник я вам, аще и град наш пленше копием возьмут, и смерти нас предадут, получим венцы нетленные на том свете от Христа Бога...

И торжественные слова эти укрепляли смятенные души, и горожане снова и снова подымались на стены, чтобы видеть, что у поганых делается. Среди круглых шатров уже дымили костры. Ветер доносил до осажденных отвратительную вонь варившейся конины, от которой православные отплевывались и еще более укреплялись в мысли, что поганые действительно поганые. В лесу, который, перебросившись через Клязьму, подступал к самому городу, слышен был немолчный стук топоров и хряст падающих деревьев, и маленькие, злые лошаденки истово подтаскивали к стенам бревна: по своему обычаю, татары готовились поставить вокруг всего города тын...

Ночь володимирцы не спали. Одни молились, другие изнемогали от страхования. В князем тереме слышался надрывный плач тоненькой княгини. Внизу, за Клязьмой, раздавался вой волчьих стай. Вдали, среди лесов, поднялось зарево: то мещерцы, пользуясь случаем, зажгли опустевшее Буланово...

А рано поутру истомленные страшной ночью володимирцы увидели большой отряд татар, которые, скаля на стены белые зубы, поскакали к Суздаю. К вечеру багровое зарево, поднявшееся в той стороне, сказало володимирцам о страшной судьбе старого Суздаля все, а на другое утро со стен, вокруг которых кипела горячая работа татар, володимирцы увидели толпы пленных, которых волокли татары в свое становище...

Ужас нарастал. Каким-то чудом пробравшийся ночью в осажденный город старый доемстик – уставщик по крылосу – сообщил володимирцам, что от всего Суздаля, чудом Божиим, уцелел только девичий монастырь, в котором иноческое борение страдально проходила юная Ефросинья, дочь Михаила Черниговского.

– Черныцы и черницы старые, и попы старые, и люди слепые, и хромые, и глухие, и трудоватые<sup>44</sup>, и люди все старые иссекоша, – говорил старый уставщик, и его корявые руки тряслись и в глазах стоял холод. – А что чернец уных и черниц, и попов, и попадий уных, и дьяконы, и жены их и дчери, и сыны их, и иные уные люди все, то все ведоша в станы своя...

Ему представлялось, что в гибели Суздаля самое страшное было то, что случилось с духовенством...

Ужас нарастал... Татары лютовали уже по всей Суздальской земле. А тут, под стенами, уже поставлены были тараны, которые громили крепкие стены день и ночь. Пороки бросали в город камни невероятной величины и тяжести, которые все сокрушали, и целые бревна. И все время, неустанно, постоянно меняя штурмующие отряды, татары вели приступы, чтобы скорее лишить сил отбивающихся без смены воев. Князь и княгини – семья Георгия была немалая – и многие бояре, уже не чая себе спасения, приняли от епископа Митрофана пострижение в иноческий сан и в неустанных молитвах готовились к смерти.

Ужас нарастал в одном стане и воинское одушевление – в другом. Над окаменевшим в страхе городом длинными полосами тянулось от шатров татарских нестерпимое зловоние. По ночам жутко светились вдали багровые зарева, от которых снег был розовый. И так были истомлены души людей, что уже многие молили Господа о скорейшем конце: что бы там ни было, только бы конец – бояться больше не было сил!..

И вот, наконец, 8 февраля, в день мученика Федора Стратилата, татары сразу со всех сторон повели на острог бешеный приступ. По примету – так назывался хворост, набрасываемый в крепостные рвы, – они взмыли на валы и сразу прорвали их в нескольких местах: у Золотых ворот вломились они в острог со стороны Москвы, через ворота Медные и Оринины – со стороны Лыбеди, а от Клязьмы через ворота Волжские. И сейчас же весь внешний город был разграблен и зажжен. Князя с дружиной, ожесточенно отбиваясь, в дыму отступили во внутренний город, в детинец, который во Володимире в память о первопрестольном Киеве назывался Печерским городом, а епископ Митрофан с семьей князя и многими боярынями заперся в храме Богородицы Златоверхой, на полатах...

Среди огня и дыма, яростным смерчем татары обрушились на последний оплот Суздальской земли. Дьявольский шум битвы опьянял степняков. Опьяняла и близкая уже и богатая добыча. Несмотря на стрелы, копья и мечи осажденных, которые гибли по стенам, они с дикими криками рвались через трупы в город, и всякий успех их сопровождался каким-то сладострастным воем. И, наконец, неизбежное совершилось: молодые князья, воевода, бояре, дружина, всё легло, и по трупам их татары ворвались в Печерский город. Выломав железные двери Богородицы Златоверхой и оставляя по плитам церкви кровавые отпечатки ног, они бросились на гра-

---

<sup>44</sup> Трудоватый – прокаженный, либо больной водянкой.

беж ее сокровищ: грабили богатейшую ризницу церкви, отрывали драгоценные оклады с икон, со стен сдирали порты блаженных первых князей, тащили кресты, сосуды, все. А другие уже спели в храм с соломой, дровами, бревнами для поджога. То же шло на княжьем дворе, в Дмитровском соборе, в монастырях Рождественском и Княгинине – в Рождественском на растопку были взяты книги владыки Митрофана, которые он так берег, – и по всем церквам. А вокруг уже ревело и хлестало своими красно-золотистыми полотнищами пламя, тучами поднимался в серенькое небо густой дым и, точно огневой дождь, сыпались сверху огненные балки. Детей со смехом бросали в огонь, тащили девушек за косы, чтобы тут же, на глазах всех, изнасиловать их, стариков резали, как баранов, вдоль дымных улиц.

Запылала и Богородица Златоверхая. Спрятавшиеся на полатах – на хорах – задыхались в едком дыму. Владыка, с крестом в руках, стоял над распростертой, воющей толпой женщин и детей, пока, задохнувшись, не рухнул среди них. Некоторые, не в силах вынести пытки удушья, бросились было, обеспамятев, вниз, но тотчас же были изрублены татарами же в горячей церкви. Радость разрушения и крови пьянила степняков, как никакое вино в мире...

И сейчас же, едва передохнув, татарские отряды хлынули от черных, мертвых, переполненных обнаженными трупами развалин Володимира во все стороны Суздальской земли. Одни бросились прямо на север и, начиная с Ярославля, разнесли и пустили по ветру все Поволжье, вплоть до Галича-Мерского, другие грабили и палили Юрьев-Польской, Дмитров, Переяславль, Ростов, Волоколамск, Тверь. Вся Суздальская земля пылала и захлебывалась в крови и слезах, принесенная в жертву тупому и жадному князю, которое терзало Русь беспощадно и в сварах своих не знало никакой меры и никакого стыда...

## Бродники

Тихое, сытое, живописное Боголюбово опустело. Среди обгоревших развалин княжеских хором, монастыря, церковей валялись трупы людей и коней, и одичавшие собаки и стаи воронья – разжирев, они едва летали, – терзали их. Плоския на лихом скакуне шагом ездил по теперь мертвой вотчине князя Андрея Боголюбского туда и сюда, и сумрачно глядели на все это страшное разрушение его смелые глаза... Но они не видели того, что было перед ними, – они видели те светлые, радостные дни, когда бегал он тут мальчугашкой, которому казалось, что жизнь – это только радостный праздник...

И, постояв с поникшей головой среди тихо воняющих развалин, он тяжело вздохнул и, понурившись, поехал по уже почерневшей – стояли оттепели – дороге к Володимиру. Он ехал и не видел ни пустынных полей, ни многочисленных истерзанных трупов, ни жирного, наглого воронья, ни сгоревших сел княжеских Доброго и Красного, которые исстари славились своими кулачными боями «стенка на стенку», ничего... А вот и Володимир – черные развалины, прикрытые недавно выпавшим снегом, и странно звучащая среди жутко-пустых улиц чужая речь, и опять эти истерзанные трупы, которые провожали его своими страшными оскалами и черными впадинами выклеванных глаз, и опять это противное, разжиревшее воронье, и вонь. И тоской сжималось сердце старика – точно какая-то хитрая колдунья, все обещая ему утешение оскорбленного сердца, водила его долгие годы по жизни, а теперь вдруг отдернула завесу пестрых обманов, и он увидал себя среди мертвых развалин родного города... Он проехал через Золотые ворота, – они закоптились от дыма, были забрызганы кровью и мозгами, примерзшими к каменным стенам, а церковка Ризоположения сверху была вся разграблена и огажена, – и повернул к стану бродников на Студеную гору.

И в их стане господствовало тяжелое уныние. Как и на Калку, на его зов они стекались и теперь под татарские стяги со всех концов Руси и бились со своими – за право жить и дышать: холопы, кабальные, изгои, нищета всякая и просто сбившиеся с панталыку люди, которым в кровавых водоворотах этих потерять можно было только свою тяжкую, ненужную жизнь, а выиграть, как им казалось, можно было все... И вот над смрадными развалинами русского города они начали вдруг понимать, что они как будто заблудились в дремучем лесу жизни. И ничего не говоря один другому о тяжелых думах своих, которые не давали им спать, они были сумрачны, часто по пустякам ссорились и подумывали, как бы от поганых тайком отстать. А некоторые уже и скрылись. Были и такие, которые уже раскидывали умом, как бы по поганым половчее да пожестче ударить... Но говорить боялись...

– А тут от Субудая татарин прибежал... – угрюмо проговорил, встречая воеводу, Самка, правая рука Плоскини, рыжий детина в косую сажень с умным, хмурым лицом и бородой во всю грудь. – Велел Субудай тебе к походу на Новгород готовиться. Они, вишь, пойдут великого князя добывать, а нам, чтобы для них дорожку на Новгород проторить...

– Гм... – неопределенно проговорил Плоския.

– А в городе наши молодцы какого-то полоумного попа пымали... – продолжал Самка. – Твоего суда ждет... Чертище такой, едва сладили: чистый вот ведьмедь...

– Где он?

– Эй, ребята!.. – вместо ответа крикнул Самка. – Приведите-ка попа к воеводе...

Плоския слез с коня, бросил кому-то из своих лапотников поводья и вошел в свой шатер. Посередине мирно тлел огонек, и сизый дымок, курчавясь, тянул в волоковое отверстие. Через некоторое время за стеной раздались голоса, и в шатер шагнул связанный, дикий, с сумасшедшими глазами Упирь. Князь Роман Рязанский, уходя с суздальскими полками на Коломну, взял с него слово, чтобы он обязательно сбежал на Исехру и все обсказал бы раненому Коловрату как и что. Отец Упирь, довольный, что у него есть добрый предлог пошататься по

милым его сердцу лесам и избыть владыки еще на некоторое время, – он решил рукописание его, так уж и быть, отдать старику... – побежал на лыжах в леса. Но когда захотел вернуться, по лесам поднялась мещера и начала жечь русские деревни, а потом и татарская сила тучей грозной надвинулась, и раз ночью над лесами, к Володимиру, такое зарево поднялось, что все уже думали, что Страшный суд идет... И вот когда наконец полный тревоги отец Упирь пробрался в Володимир, он не нашел ни хибарки своей, ни Миколы Мокрого, ни попадьи, ни Володимира... И сразу он точно в уме тронулся. Татарские стражники – их звали по-татарски «дарогами» – с удивлением смотрели на великана, который бестолково шатался среди развалин, но не тронули его...

– Ты кто? – сумрачно спросил его воевода.

– А ты кто? – дерзко отвечал поп.

Раньше за такой ответ Плоскине разом голова с плеч слетела бы, но теперь у старого сердца уже не было сил сердиться: туга<sup>45</sup> полонила бродника.

– Не хочешь, не говори, пес с тобой!.. – отвечал он, внимательно рассматривая свою только что отточенную саблю. – Я не знаю, на кой леший такого облома и привели в стан...

– А на то, чтобы сказать тебе, что ты сукин сын, Иуда-христородавец...

– Дурак!.. – пробормотал Плоскиня. – Эй, там!.. – своим глубоким басом крикнул он за шатер. – Возьмите отсюда этого черта и пустите его на все четыре стороны. И на что вы взяли его? Пушай бы шатался как хочет...

– Да что ж зря шататься-то?.. – сказал Самка. – Налетит на какого поганого, тот ни за что его прикончит с его дурью-то, а у нас, глядишь, такой богатырь и на дело пригодиться может... – глядя в сторону, как-то загадочно сказал он.

– Хочет, пушай остается, а не хочет, пес с ним... – решил воевода. – Ну, идите...

– Субудай Багадур едет, воевода!.. – вбежав в шатер, доложил корявый парень в лапотках.

– Ну и пусть его себе едет... ко всем чертям... – зло уронил Плоскиня.

Бродник опешил. Самка кинул на воеводу боковой взгляд. Посмотрел на воеводу с недоумением и Упирь. Но Плоскиня, подумав, все же вышел из шатра и, увидав неподалеку кучку всадников, во главе которой под бунчуком из конских хвостов ехал сам Субудай, герой Калки, уже старый, обрюзгший татарин, уверенно подошел к нему. И едва сдержал улыбку: старая, морщинистая морда татарина была, как кошкой, вся исцарапана. Это, как сказывали, одна из пленниц, которую привели к нему в шатер, отделала так великого воина. Девку тут же, за шатром, пришибли, но память все же осталась...

– Мне надо бы тебе сказать слово, воевода... – сказал Плоскиня по-татарски.

– Говори... – сонно отвечал татарин с коня.

– Нет, мне надо наедине...

– Тогда приезжай ко мне в ставку...

– Благо встретились, можно и сейчас... Может, ты отъедешь немного в сторону?

Татарин тронул своего шершавого конька, который все косил на Плоскиню кровавым сердитым взглядом.

– Ну? – уронил лениво Субудай.

– Промежду нас уговор был, – сдерживая волнение, проговорил старый бродник, – что когда мы возьмем Володимир, вы поставите меня князем тут...

– Был... Ну?

– Так я свое дело сделал, теперь, по уговору, вам надо свое слово исполнить...

– Ежели поклянешься великому хану в верности, становись князем хоть сейчас... – сказал татарин, и вдруг ленивая улыбка обнажила его редкие желтые зубы. – Только над чем

<sup>45</sup> Туга – печаль.

ты княжить-то тут будешь? – кивнул он в сторону мертвого города. – Разве над воронами...  
Погоди хоть, пока набредет десяток-другой беглецов из лесов...

Старый бродник повесил голову: слова татарина остро ранили его в сердце. Он кивнул ему и молча пошел к шатру.

– Постой... – остановил его Субудай. – Тебе говорили, что вам надо на Новгород готовиться?

– Будем готовы... – хмуро отвечал Пlosкия.

Татары уехали. Вокруг стало тихо. Только, крутясь над городом, хрипло каркали вороны. И вдруг где-то поблизости, в одном из шатров, песня унылая послышалась. Пlosкия прислушался.

Зачем мать сыра земля не погнется? —

задушевно пел кто-то тихим, высоким голосом. —

Зачем не расступится?

От пару было от кониного,

А и месяц, и звезды померкнули:

Не видать луча света белого,

А от духу татарского

Не можно нам, крещеным, живым бы-ы-ыть!..

И воевода, и все бродники сразу сердцем почуяли, что что-то в жизни их кончилось и что стан их подошел к какому-то огромному решению: нужно только чье-то слово властное...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.